

Иван Шмелев

НЯНЯ ИЗ МОСКВЫ

Роман, повести и рассказы



Духовная проза

Иван Шмелев

Няня из Москвы (сборник)

«Никея»

1933

УДК 821.161.1
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

Шмелев И. С.

Няня из Москвы (сборник) / И. С. Шмелев — «Никея»,
1933 — (Духовная проза)

ISBN 978-5-91761-802-9

В этот сборник известного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева вошли рассказы, повести и роман «Няня из Москвы», созданные в эмиграции. После отъезда в 1922 г. из России И. С. Шмелев пытается восстановить в своих произведениях ее историческое пространство, но перед этим он «восстанавливает» свою собственную душу, свою утраченную целостность. Творчество этого периода стало попыткой осмыслить причины произошедшей в стране трагедии, обрести душевный покой, перейти от кризиса и уныния к радости и обретению веры.

УДК 821.161.1
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-91761-802-9

© Шмелев И. С., 1933
© Никея, 1933

Содержание

Предисловие	6
Няня из Москвы	8
I	8
II	11
III	15
IV	17
V	19
VI	21
VII	24
VIII	26
IX	28
X	31
XI	33
XII	36
XIII	37
XIV	38
XV	41
XVI	44
XVII	46
XVIII	47
XIX	49
XX	50
XXI	51
XXII	53
XXIII	55
XXIV	58
XXV	59
XXVI	61
XXVII	63
XXVIII	65
XXIX	68
XXX	70
XXXI	72
XXXII	74
XXXIII	76
XXXIV	78
XXXV	80
XXXVI	82
XXXVII	83
XXXVIII	85
XXXIX	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Ивам Шмелев
Няня из Москвы. Роман.
Повести и рассказы

*Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р14-407-0755 (Няня из Москвы)
ИС Р14-409-0985 (Повести и рассказы)*

Текст печатается по изданию:
Шмелев И. С. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Русская книга, 2001.

Предисловие

И. С. Шмелев (1873–1956) прожил длинную, трудную жизнь. Потерял горячо любимого сына, который был расстрелян во время красного террора в Крыму. Потерял и свою родину, покинув Россию, где всё напоминало ему об этой трагедии. Живя в эмиграции, И. С. Шмелев пытается восстановить в своем творчестве историческое пространство России, но перед этим он «восстанавливает» свою собственную душу, свою утраченную целостность. Таков духовный контекст романа Шмелева «Няня из Москвы» (1932–1933, Париж).

Само название романа отсылает нас к пушкинской Арине Родионовне, к образу русской няни, хранящей теплоту домашнего очага и традиционный уклад жизни.

В романе борются две стихии – стихия хаоса революционных лет и разрушающейся семьи и противостоящая ей сила созидания и гармонии. Победить разрушение поможет она, необразованная, но освящающая все любовью – старенькая няня Дарья Степановна. Созидание после душевной, духовной и государственной разрухи возможно – пока существуют «няни из Москвы», которых не учили жить «для саморазвития», но которым была дана способность смиренно создавать святость обыденности и целомудрие домашнего очага.

В сборник «Няня из Москвы» вошли также рассказы и повести, написанные в эмиграции. По самым известным произведениям Шмелева – «Богомолье» и «Лето Господне» – мы хорошо помним образ той древней, богомольной, купеческой Москвы, которую он знал еще ребенком. Не забыть ее, не изгладить из своей памяти ни героям Шмелева, ни самому писателю, который говорит: «Полезно оглядываться на прошлое...» Ведь сохранение памяти, эта «оглядка на прошлое», такая мучительная и требующая мужества, рождает покаяние и очищение души. Покаяние – один из мотивов, постоянно звучащих в жизни и в художественном мире Шмелева на протяжении всего периода эмиграции. Оно вызвано глубоким размышлением о том, почему рухнули прежние основы российского мира.

Дьякон из рассказа «Свет Разума» находит причину этого разрушения в том, что люди изменили голосу своего сердца, забыли о душе: «А Свет-то Разума хранить надо? Хоть в помойке и непотребстве живем, а тем паче надо Его хранить... Высший Разум – Господь в сердцах человеческих. И не в едином, а купно со всеми».

В рассказе «Всенощная» русские мальчишки-эмигранты, лишенные дома, в приюте при дороге ждут знаменитый квартет Кедрова, который исполнит для них всенощную. Туда, в ночь, в бездорожье, к этим покинутым в чужой стране детям, едут известные артисты и сам рассказчик – и тьма озаряется Светом.

Память очистившейся души помогает Шмелеву воскресить и свой потерянный в России дом. Вот он с Горкиным едет на богомолье Москвой, любовно-возвышенно описывая ее дороги, церкви и часовни. И с неба льется Свет, дающий и старику Горкину, и мальчику неземную радость и неземные силы – идти к личной встрече с Богом (рассказ «Москвой»).

Шмелев показал в русском человеке и страшную тьму (рассказы «Крест», «Кровавый грех»), и то, как маловерные, истерзанные жизнью люди сумели увидеть Господа, склонившись над этой опустошенной Россией – и, пусть даже не веря в Него, все-таки сделали усилие и протянули к Нему руки.

Рассказ «Милость преподобного Серафима» – история о чудесном излечении самого писателя и укреплении его веры. В судьбе Шмелева это исцеление стало переломным моментом, после которого он дорабатывает свои главные произведения, воскрешая в них образ старой России, своего Дома. Сильнее недозволенной любви оказался Свет Христов, давший силы для творчества и «вечную память» – и иконописцу Илье из «Неупиваемой чаши», и его любимой. И все это было так давно... И так вечно. Шмелев, как его герой, иконописец Илья, писал для нас свою «сокровенную» Россию, свой Дом. Потому что Дом – это место для любого чело-

века, уставшего от шума и суеты жизни, недолговечных и беспорядочных человеческих отношений – уставшего так, что, быть может, помимо его собственного сознания из уст выливается: «Господи!»

Татьяна Радомская

Няня из Москвы

I

..А вот и нашла, добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо – то как у вас, барыня, – и тихо, и привольно, будто опять у себя в Москве живете. Ну, как не помнить, с Катичкой еще все к вам ходили, играть ее приводила к Ниночке. Покорно благодарю, что уж вам беспокоиться, я поимши чайку поехала. И самоварчик у вас, смотреть приятно. Вспомнишь-то, Господи... и куда девалось! Бывало, приведу Катичку... – дом у вас чисто дворец был, – они с лопаточками в саду, снежок копают, а меня экономя а ваша... носастенькая такая у вас жила, – Аграфена Семеновна, ай Агафья Семеновна?... – чайком, бывало, попоит с рябиновым вареньем, а то из китайских яблочков, – любила я из китайских. Тут их чтой-то и не видать... – воды им, что ль, тут нет, и в Америке этой не видала. А как же, и там я побывала... И где я не побывала, сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужайка... березок вот только нет. Сад у вас, правда, побольше был, не сравнять, как парки... грибок раз белый нашла, хоть и Москва. Помню-то? Пустяки вот помню, а нужного чего и забудешь, голова уж не та, все путаю. Елка, помню, у вас росла, бо-льшая... барин лампочки еще на ней зажигали на Рождестве, и бутылочки все висели, а мы в окошечки любовались, под музыку. И всем какие подарки были!.. И все – как во сне словно.

А вы, барыня, не отчаивайтесь, зачем так... какие же вы нищие! Живете слава Богу, и барин все-таки при занятии, лавочку завели... все лучше, чем подначальный какой. Известно, скучно после своих делов, ворочали-то как... а надо Бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночуют... А где я живу-то, генерал один... у француза на побегушках служит! А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете, не такие уж вы старые. Сорок седьмой... а я – больше вам, думала. Ну, не то, чтобы постарели, а... погрузнели. В церкви как увидала – не узнала и не узнала... маленько словно постарели. Горе-то одного рака красит.

А уж красивые вы были, барыня... ну, прямо купидомчик, залюбуешься. Живые, веселые такие, а как бриллианты наденете, и тут, и тут, и на волосах, – ну, чисто царевна-королевна! Нет, не то чтобы подурнели, вы и теперь красивые, а... годы-то красоты не прибавляют, до кого ни доведись. Барин-покойник скажут, бывало, про вас Глафире Алексеевне, – «уж как я расположен к Медынке с Ордынки!» – так вся и побелеет, истинный Бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать... сокол-то какой был, и веселый, и обходительный, и занятие их такое, при женском поле все, доктор женский! Только, бывало, и звонят, только и звонят, – прахтика ведь у них была большая. И это случалось, вздорились, и меня в ихние разговоры путали, Глафира-то Алексеевна. Я еще до Катички у них жила, от мамы с ними перешла, в приданое словно, – уж как за свою и считали. А помирал когда барин, – Глафира Алексеевна... это уж в Крыму было... Ну, что покойников ворошить, Царство Небесное, Господь с ними.

И малинку сами варили, барыня? Мастерницы вы стали, обучились, – ягодка к ягодке, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить, прислуги полон дом был. И дома редко бывали, гости вот когда разве, а то театры, а то балы... Ниночку замуж выдали... так, так. Письмецо Катичка читала, в Америке этой получили. Да маленько словно порасстроилась, попеняла, – «все вон судьбу нашли, одна я непритычная такая, мыкаюсь с тобой, с дурой...» Да нет, любит она меня, а это уж так. Не ей бы говорить, отбою от женихов не было, так хвостом и ходили, и посейчас все одолевают. Да что, милая барыня, и никто ее не поймет, чего ей надо, такая беспокойная. Уж и натерзалась я с ней, наплакалась...

А в Америке апельсиновое больше варенье нам подавали, а то персиковое. Просила Катичку, – купи мне яблочков, вареница я сварю, – так ни разу и не купила. У них там

американское, конечно, варенье, пусто-е... суроп один надушенный, и доро-го-е! А свое-то варить не позволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на двадца-том этаже, чисто на каланче, – ну, огня и не позволяют, пожару боятся. Уж и высо-та-а!.. – в окошечко как глянешь, сердце и упадет. Эти гуделки вот, – ну, как спишешные коробочки, а человека и не разглядеть, – как сор. Видала-то, говорите... Да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели... Сидели, барыня, с самыми-то страшенными, львы-тигры вот... истинный Господь. И еще обезьяна, ножиком нас запороть хотела... и как царицу ихнюю на огне жгли, глядеть ходили, где вот... голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой – сама бы не поверила. И чего же надумала, – на еропланах подымать меня собралась, с идолом с тем, с американским, с трубкой все к нам ходил. Да я наземь упала, не далась. «Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я погожу, по земле еще похожу». Она-то уж летала, сорвиголова стала, – не узнаете и не узнаете. А такое уж у ней теперь занятие... и в море топиться возят, и из пистолетов в нее паляют, и партреты с нее сымают... – понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь... по-ихнему – уж зве-зда стала, вон как!

Да с чего уж вам и рассказывать – не знаю, от очуменья никак все не отойду. Увижу во сне, – опять будто в Америке живу, на тычке сижу одна-одине-шенька – так меня в пот и бросит. Да как же, барыня... Перво-то время вместе мы жили с Катичкой, и каждый день у нас с ней неприятности: «да связала ты меня по рукам – по ногам, да куда мне тебя, старую, девать...» – характер уж у ней стал портиться. Просилась у ней – «стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези, там знакомые у меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю». Разнежится она, «нет, погоди... и все-таки я к тебе привышна... да ты мне нужна, да как я без тебя буду?» А и часу со мной не посидит. Убежит в омут этот страшный по своим делам, а я плачу-сiju, слезть-то одна не смею, сiju-молюсь, ее бы не задавили на низу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тыщи верст улетела, на еропла-нах, мигалки вот где изготовляют... вот-вот, в снима-то эти, сымаются на картинки где, я и конца себе не чаяла. Абраша, спасибо еще, попался, с нашей стороны, жид-еврей, Тульской губернии... Да легкое ли дело, одна-одинешенька, в чужом месте, в американском, на двадцатом этаже, сказать по-ихнему не умею... Ну, наказала себя ждать, с дилехторами все у ней разговоры шли, велела половым ихним кушать мне приносить. А они без зову не приходят, в разные им пуговики надо тыкать, в иликтрический звонок. Ткнула раз, – смерть чайку захотелось, – приходит арап зубастый, давай на меня лаять, по-ихнему, и на полсапожки тычет, велит скидывать. Все и потешались. Три арапа приходили, все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно, чисто тебе собака принесла. Абраша меня и вызволил, взял к себе на постой, в квартирку, деньги-то такие не платить.

Ну, возила она меня в собор наш, в русский... хороший такой собор, и образа богатые, наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорыич провожал, Абрашин папаша, старичок. Ну, маленько отойдешь там, помолишься. А мы тогда прямо голову с Катичкой потеряли, Васенька шибко заболел, она и помчалась служить молебн, на себя непохожа стала. Да вы его словно видали, в Москве он у нас бывал. Да в Ласковое вы приезжали перед войной к нам, два денька гостили, еще барин верхом с вами ускакал, и до ночи вы катались, а барыня серча-ла!.. В имении у них, у Васеньки, и лошадок брали... ну, вот, вспомнили. Говорите, как я все помню. Где же всего упомянуть, память старая – наметка рваная, рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а именье их с нашим рядом, миллионеры были, один сын у отца. Вот-вот, самые Ковровы они и есть, припомнили. Как же, и он тоже в Америку попал, полковник уж тогда был, а у них в анжинера вышел, хорошую должность получил, иликтрическую. Уж он с нами канителился, и в Костинтинополе, и в Крыму... спас ведь от смерти нас! Убежит она из дому, чего-то им недовольна, он и сидит со мной, и молчит. А раз и говорит:

– Ах, няня-няня... сколько я всего вынес, три пули меня прострелили – и цел остался, а Катичка меня измучила!

Через себя сказал, скрытный он. Да это, барыня, знать надо, сразу-то не поймете. И нескладно я говорю, простите... голова чисто решето стала. И то подумать: где меня только не носило, весь свет исколесила. Я уж по череду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете, душа за Катичку изболелась. И приехала-то я затем больше, правду-то вам сказать...

II

В Америке-то очутились? Это я вам скажу, а сперва-то я вам... Ну, что ж, позвольте, чашечку еще выпью. Хороший у вас чай, барыня, деликатный, а с прежним все-таки не сравнить. Бывало, пьешь-пьешь... ну, не упьешься, до чего же духовит!

А ведь это Господь меня к вам привел, Господь. Стою намеренно в церкви, на Рю-Дарю, и такая тоска на меня напала... молюсь-плачу. У Марфы Петровны я пристала, в нянях она у графа Комарова раньше жила... Вот-вот, самый тот Комаров-граф, сколько домов в Москве, высокого положения. Так и прижилась, они ее с собой и вывезли. Все уж у них повзросли, и прожились они тут, ни синь-пороха не осталось, а графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер, а постарше – в дипломата хотел попасть, да уж расстройка вышла, он теперь, Марфа Петровна сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платья для показа примеряет, вон как. Марфу Петровну знакомые и взяли, – дочка у них за ресторанишкой нашим, – ее и взяли за девочкой ходить. И комнатка ей на чердачке, тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бедная я какая, смиловался Господь, за себя плачу... Катичка мне дала деньжонок, и не в обрез... Деньги-то? Да она теперь, барыня, столько добывать стала, – не сосчитать! И богачи ихние к ней сватаются все, она только не желает. Такие чудеса, никто и не поверит.

Ну, стою в церкви и плачу, себя жалею... бо-звать чего надумываю: вот, дожила... обгрызочком за порошком стала, никому не нужна. С думы так. И за Катичку-то тревожусь, как она там одна. Катичка-то? Да очень любит, и уезжала я – плакала... да, говорится, одна слеза катилась, другая воротилась... молода, ветерком обдует и... Пойду, думаю, поставлю свечку Николе-Угоднику-батюшке, забыла ему поставить. А он сколько спасал-то нас, с иконкой его так и поехала из Москвы... старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне – пойду-поставлю! А уж и обедня отходила. «Отче наш» пропели. Подхожу к ящику свечному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули – «няничка»! И как вы меня узнали, неуж по голосу... разговор у меня такой, тульской все? А-а, по «смородинке» по моей... ишь, ведь упомянули! А я бы вас нипочем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лице, ваша Ниночка все, бывало, – «няня-смородинка», звала... а то «родинка-уродинка». Вот и пригодилась уродинка.

Ниночка-то ничего живет? Так-так, за шофером, офицер тоже был. Так, так... красоту делать обучается. Слыхала, как же, барыням щеки натирают, боту делают. Ну-к что ж, что небогато живут... а кто теперь богато-то живет! Сыты, одеты, обуты, – и слава Тебе, Господи. Катичка и в богатстве вон, а... Мало чего она Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю. А чего она может написать? При мне и писала, на одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верно, – открыточку... не любит она толком написать, знаю ее характер. Недолго наживет она там, с американцами, до первой обиды только. Мне Абраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, ихние порядки знает:

«И зачем вас барышня пускает от себя, мамаша дорогая!» – все он меня так – мамаша дорогая. – «У нас здесь один разговор... то ли ты горло кому перегрызи, то ли тебе голову оторвут!» – так все говорил. – «Старинный глаз тут нужен, а то барышню могут оскандалить, которая красавица и без свидетелей, и от суда откупятся».

И папаша его, с кем вот ехала я оттуда, Соломон Григорыч, хороший такой мужчина, уж старичок... наш тоже, тульской, портной из Тулы военный, тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, говорит, мочен. Такой-то жалетель душевный оказался... Ехали мы с ним на корабле, семеро суток по морю-океяну ехали, вот я тошнилась, – помру, думала. А он со мной рядышком тоже тошился, все меня утешал:

«Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна... ох, зато от Америки этой дальше уезжаем, бел-свет увидим...» – все меня развлекало.

А его другой сын выписал к себе, в ихние палестины, в Старый Ерусалим, – и у них тоже там святое место. Про Катичку-то я вам... И рвалась я оттуда, а ради Катички уж терпела, как я ее одну оставлю. Девочка она красивенькая, привлекающая, так круг ее и ходят, зубами щелкают... ну, долго ли с пути сбиться. А она на таком виду, при таком параде теперь... И всего там за деньги можно, а де-нег там... душу купят и продадут, и в карман покладут, вот как. Она и бойка-бойка, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то – на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Ну, она меня уж и отпустила, и попутчик такой надежный, Соломон Григорьич. Поняла, может, что погибать мне с ними, не миновать... ну, непричальна я к тем порядкам, к американским ихним. Да Васеньку-то она заканителила, и идол тот навязался, – роман и роман страшный. Уж как все расканителился – не скажу. Не подумайте чего, барыня... она вот как не желала меня пускать, а я все... так уж Богу угодно, мысли все у меня такие были – поехать надо. Ночи не спала, все думала – поехать и поехать, совета попросить. Да вот, про Катичку-то... Да сразу, барыня, не понять, это все знать надо. Идол тот, думается мне так, зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катичку отпустить меня, правды-то всей не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее, просилась-то, отвезти-то меня, а сама нипочем бы не уехала, своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю, а... на мысли вступило мне, поехать и поехать по одному делу. Да дело-то не важное, а... Уж и натерпелась я там, наплакалась-наглоталась. Ну, она мне и... – «что ж, поезжай, там тебе повеселей будет...» – дозволение и дала. И люблю ее, а поехала... будто так надо, в мысли набилось мне. Может, чего и выйдет, к лучшему. Да и правда: тут-то я хоть в церкву схожу, душу отведу, а там как привязанная я словно, да напужена-то, шум такой... чистый ад! И все будто сумашедчие какие, слова доброго не услышишь, дела до человека нет. Тут народ, барыня, вежливей, сравнять нельзя: и улицу покажут, и... Уехала я, вот и ее, может, подманю: соскучится по мне – скорей приедет.

Не окликните вы меня, так бы я вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш, Катичка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги, под землю лезть, в вагон посадила, наказала пять станций считать и вылезать. Ну, вывели меня из-под земли, стала бумажку совать человеку одному, а ветром ее и выхлестнуло. А там омут чистый, автомобили гудут, вагоны крутятся, – завертело мою бумажку под колеса. Искали с ихним городовым, и человек тот с нами ходил-искал... хорошие, спасибо, люди попались, вникающие. Объясняю им – адрист улетел, ф-фы! – поняли, пожалели – не нашли. Поехала я назад к Марфе Петровне. Спасибо, карточка хозяина ее была с адреском, а то бы и ее не нашла. Да еще молодчик один на меня поантересовался, признал – русского я роду, шофер: «садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности, куды вам?» Заплакала я прямо. Довез акурат до квартиры, ни копейки не взял. – «У меня, – говорит, – мамаша теперь такая же старушка, в России нашей». Уж такой обходительный, сурьезный, из офицеров тоже. А в церкви вы меня и опознали, Господь привел.

В Америку-то как попали? А разве Катичка Ниночке не отписала? Правда, голову уж она тут потеряла, Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете, идол тот замешался. Идол-то... Да он, может, и ничего, а вроде как шатуший, лизун. Это он меня так прозвал – и-дол! – осерчал. Привела его Катичка меня показать, чисто чуду какую... много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть, – то-се. При нем меня и поцеловала, стала нахваливать, по голосу уж слышу. А он ощерился, и пальцем в меня – «и-дол!» – говорит. А Катичка после сказала – «иконкой» она меня назвала ему. Она меня, бывало, – «иконка ты моя, не могу я без тебя!» – это уж как разнежится. А тот на меня – и-дол! – почитает, дескать, она меня шибко! А сам вроде как искутан, лицо такое неприятное, кирпичом, никогда и не улыбнется, зубы покажет только, какие-то они у него... железные словно, а не золотые, смотреть даже неприятно. А бога-ач... денег некуда девать, полны подвалы. Все при деле там, а он надоел

звонками. Много уж за сорок ему, и одутлый, а навязался и навязался. И со всеми дилехторами будто знаком, сымаются вот где. Где уж она его сыскала, – не отцепляется, так вот и стережет. А она потешается: идол к нам, она Васеньку вызвонит, повернется перед ними и убежит. Они и сидят, как глупые. Говорила ей – «навязался человек, без пути ходит... да ну-ка еще женатый!» Да уж она волю-то взяла, узды на нее нету, разве она слов слушает. А ей голову закрутили, во всех ведомостях печатают, шмыгалы к нам повадились, карточки с ее шелкают... – уж она показная стала. А де-нег у него... ни в какие банки не укладешь, сам будто делает! Не вздор, барыня, а сущая правда. А, может, и нахвастал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катичке: «сейчас я на ваше счастье милиен сделал!» А она повернулась так, гордо ему – «что мало?» – и ушла, ни слова не говоря. Он глазищами на меня похлопал, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня, прямо.

Чего уж она наболтала про меня, только он меня невзлюбил. Все и думала – господ бы Медынкиных повстречать, про вас. А где вы – и знать мы не знали, живы ли. Оборвется, думаю, у нас с Катичкой, где нам искать защиты? А вы с Катичкой ласковы всегда были, подарки какие всегда дарили, – помога не помога, а все ей совет дадите, и все-таки одержка, очень она своевольная, меня не слушает... и с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного карактера, все терпел. А как заноза в нее насела... Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это артист один, баринов адресок Катичке сказал, на лавочку, она и отписала Ниночке. Артист-то? Он барину на лавочку писал, а барин и не ответил. Нет, фамилию не упомяну, какая-то мудреная... Мен-дриков, что ли? и еще как-то... Кандрихов? Две у него фамилии будто. Все бухвостил: «Я у них на Ордынке театры играл, без ума все от меня были, а Варвара Никитишна перстень, – говорит, – мне изумрудный поднесла!»

Может, что и наплел, как вы-то говорите. Будто за тот перстень дом купить можно было, а он его за мешок муки выменял, голодал. Верно, барыня, мало ль чего насажут. Краснобай такой, балахвост.

Катичка ему – «а, пустая вы балаболка!» – а он в ладошки – «поклоняюсь, поклоняюсь!» – никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот чего еще говорил:

– Это Медынкин на меня сердает – и адреска барыни не дает. А теперь старое помнить грех, все мы как потонули, будто уж на том свете. Все равно я ее бесприменно разыщу!

Разыщу, говорит, – так и сказал. Такой настойчивый... В соборе он нам попался. Из себя-то? Да не так, чтобы ахтителный какой, и уж немолодой, а видный такой мужчина, брюзглый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался он нам в соборе... совсем без копейки оказался, и уж стали его выгонять из Америки, что беспачпортный. А тоже чего-то там представлял, разбойника, что ли, – Катичка говорила. А одета она шикарно, и к собору мы с ней на автомобиле подкатили, – он тут и подскочи. А разговор у них свойский, дерзкие они все – «Как так, не помните! А в Париже-то мы крутили с вами!...»

Чего сказал! Катичка ему и отпела, перчаткой так: «Извините, не помню... и хочу молиться!»

Расстроены мы, Васенька заболел... а он пристал и пристал. Отслужили молебен, и он с нами помолился, на коленках даже стоял, – не отцепляется. Поплакал даже с нами, так и расположил.

«Каждый, – говорит, – день в соборе плачу-молюсь, ничего больше нам не осталось, потонули мы все бездонно».

Так и расположил. И фамилии всякие, и то, и се... и знаменитые-то вы стали, и про Москву, слово за слово – вас и помянул. Тут и распуталось. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то бы пропадать ему: велят сейчас же на пароход садаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы выгонять, который беспачпортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак.

«Лечу, – говорит, – на вокзал, счастья пытаться в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь – русская лавочка! Дай, думаю, водочки прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке не достать. Все, – говорит, – родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку... ба-а! – сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет! Только расцеловались, адресок лавочки записал, – поезд ждет, опоздаю на пароход».

Как заплетается-то у нас, барыня, чисто в жмурки играем по белу свету. А еще вот, – ну, прямо не поверишь, как расшвыряло. Стало быть, лавошница наша, в Москве мы жили... хорошая такая, богомольная, Авдотья Васильевна Головкова... – и что же, барыня! Где это вот Дунай-река... как это место-то?... нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил?... Правда, у ж по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспрерывно к вам побывать, в Америке уж все у него оборвалось.

«Только бы до Парижа докатиться, а там опять, – говорит, – встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали... и у них беспрерывно деньги имеются».

Такой нахал, сушью правду говорите, до чего бесстыжий. Ну, какое кому дело до чужого кармана, вывезли или не вывезли! А уж эти антилигенты, барыня, дочего же завистливы! В Москве сколько насмотрелась. Ну, известно, не все... а насмотрелась.

«Они, – говорит, – с заграницей торговали, у них беспрерывно в банках тут капиталы спрятаны, а лавочка для прилику только». Уж такой-то наглый, не дай Бог. «Должны быть деньги, секретные». Как это он?... не секретные, а... Те-мные, вот как. – «Я бы, – говорит, – и в Америку не пустился, далищу такую, киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так». А уж говору-ун!.. «Что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет». Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали, дилехтора. «Закадычные, – говорит, – друзья с ней были, из одного стаканчика пили, и портретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался».

Прямо са-нтажист, верное ваше слово. Придет, а Катичка растереха, колечки-брошки валяются, где неслед, бриллианты-жемчуга все какие, большие тыщи плачены, – упаси Бог, человека соблазним. Я и поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А собирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится. А как же, и к нему прицепился, да они попусту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думается так, уж не принянял ли его идол-то на тайное какое дело, досматривать... Да нет, сразу-то не поймете, тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил, – про перстенок, да что вот портретик оторвался.

«Теперь бы, – говорит, – этот перстенок... на автомобилях бы раскатывал».

III

Про Васеньку-то я вам... А это она занозу свою все помнила, – знать-то все, – терзала-то его. Она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии, соседи с нашим именищем. Сами знаете, какое у барина именище было, от тетки им выпало, поскребушки. Тетку они давно уж начисто обглодали. Как померла, они в банки побегли справиться, капиталы искали, а ничего и нет, пустой ящик. Как так, должны быть капиталы! А у ней лакей-старичок, сорок годов жил, – не он ли прибрал к рукам? Ну, оправдался, тыща рублей у него только, оказалось, на книжке на сберегательной. Выдало им начальство бумаги тетчины, а там все и прописано, сколько они с нее денег перебрали, сами-то даже ахнули... весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то несмысленные... а хорошие были люди, грех похулить.

Верно говорите, много барин прахиткой добывал, с другой барыни и по пять тыщ за операцию брал, и приют на свою акушерку держали, а жили-то они как, барыня! Глафира Алексеевна и одетая любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и... Уж покойники оба, а правду вам сказать, денежек что ушло на шантрапу на всякую! Незаконные к ней ходили, полиция вот ловила... с парадного позвонится, часто так – дыр-дыр-дыр, она сама и бежит, по знаку. Посушукуются, – и сейчас в шифонерку, за деньгами. Конечно, не мое дело, а она, простосердая, всему верила. Сказала ей раз, а она мне:

«Для тебя, глупая, стараются-страдают, да не понять тебе только!»

Барин поморщится, скажет:

«Прорва какая-то, надо же разбираться, милочка!»

А она все так:

«Это же наш долг, Костик».

Как уж они столько задолжали, уж и не знаю. Да наскочила еще на хахалю одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться: давайте три тыщи, а то пропечатаю письмо! Прибежала ко мне, голову потеряла:

«Ай, няничка... ославит на всю Москву, и Костик узнает!..»

Все мне, бывало, доверялась; я ее с семи лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катичкину учителю. Как уж он его выкрал – не скажу. Было-то чего с музыкантом?.. В доточности не знаю, а... Ну, что, барыня, ворошить, Господь с ними, покойница давно. Ну, выкрал и выкрал. Достали мы за вексель у нашего лавошника Головкова три тыщи, а четыре заплати, на полгода, вон как. Я на образа божилась уж Головкову, отдадим, а он мне как казне верил. И измытарили меня те денежки. Барыня, прости ей, Господи, грех, у барина из карманов помалости вышаривала да мне, греховоднице, – на, попрячь. Больше году набирали, греха что было... в глаза я барину не могла смотреть, измучилась... за грех такой обещание дала сорок раз к Царице Небесной Иверской сходить, сходила. Наберем сполна, она на себя потратит, а Головков меня тербит. Спасибо, Авдотья Васильевна, желанная такая, просила супруга потерпеть. Вот святая душа! Тоже мотается по свету, глазочком только разок и повидала, где вот Дунай-то-река... А газетчик опять грозиться, вот-вот ославит, – тыщу еще давай! Совсем уж затеребил... под машину попал, выпимши. И грех, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее все так почитали, Глафиру-то Алексеевну, она все книжки читала, и про все разговаривать умела, и в налехциях бывала, для простого народа все старалась. Две зимы все ходила с музыкантом книжки читать, а он на роялях все играл. Да тут, может, причина-то всему барин: очень она его любила, а он ее огорчал, ну, ей утешение и нужно было. Вот они с тетушки и тащили. А она Катичке кресна была, души в ней не чаяла, – они на Катичку и выпрашивали.

Да много было... А как и не быть-то у Костинтина Аркадьича забавкам!.. Помните, небось, сами... барыни-то ему покою не давали. Все богачки, листократия самая, время девать

некуда, только на баловство. Он к этому делу и пристрастился. А умный ведь какой был, все его так и слушают, как заговорит. Ото всех уважение, подарки, чего-чего не было!.. Высокое бы ему место вышло, кабы не помер да безобразия бы не случилось, большевиков этих. Ну, много тоже и на забавки уходило. Да что я вам, барыня, скажу... я уж и не жалею, что за ними мои пропали, боле двух тыщ пропало. Все едино, получи я свои зажитые – пропали бы. Всем деньгам конец пришел, и тяжелой копеечке, и легкому рублику. Ну, нет и нет у них денег, когда ни попроси.

«А зачем тебе, – скажут, – няничка, деньги... у нас целей будут». А то и так: «Ты уж, нянь, потерпи, вот получим скоро куш, сразу и отдадим».

Три рубли барин сунет, скажет – «это не в счет», – и все. А это они от тетки наследства ждали, куш-то. А хорошие были господа, жалеющие, лучше и не найти. Уж так-то ласковы со мной были, так-то... Заболею я, барин мне и градусник сам поставит, и компрес, и чайку с лимончиком принесет. И барыня, ночью даже вставала, так жалела.

«Няничка, – скажет, – труженица ты наша... самое ты наше дорогое, простой ты народ, тульская ты, мозолистая...» – и руку мне все поглаживает, истинный Бог. А то скажет еще, прости ей, Господи: «Да нам на тебя молиться, как на икону, надо... ведь ты свята-я!..» – а у них и икон-то не висело, и никогда и не молились.

А мне и слушать страшно, и стыдно мне, слезы и потекут. Гляжу на иконку на свою и молюсь: прости ей, Господи, неразумие и меня не осуди. Грешница я, – бывало, сладенького чего возьмешь, без спросу. Конфекты у них не переводились, и пастила, и печенья всякие, и прянички, и орешки заливные, чего-чего только не было! В деньгах, уберег Господь, не грешила и Аксюшу, бывало, не раз ловила. Расте-рехи-и... – ведь это что ж такое! У барыни, где ни поройся, то красенькую, то трешницу найдешь, в книжку засунет и забудет... А у барина в шубу за подкладку заваливались, да па-чки! А то приезжает раз, а у них в ботике семь золотых звенят, в дырку из кармана проскочили. А сколько на улице осталось, и не усчитали: много, говорит, было, карман прорвали. Как в доме денег нет, пойду-пошарю – всегда найду. Барин, бывало, загорячится – «как так нет? где-нибудь должны быть... в диван не завалились ли, в шубе глядите, за подкладкой!» А сладенького брала, по слабости. Барин, как газетку читать, перед взаседанием своим, на турецкий диван завалится и коробками обкладется, и то из одной, то из другой не глядя в рот сует. А денег вот не водилось. Им большое наследство выходило, да оглашенные по Москве палить стали, а там и все деньги отменились. Мы тогда барина в Крым свезли, не до того уж им было. И я бы зажитые получила.

IV

Про Васеньку-то я вам... Соседи по именицу, Ковровы. Стало быть Катичке счастье тут выходит, и в самый-то бы раз, потому совсем барину удавка пришла: затребовали пять тыщ за вексель, – какой-то он барышне по секрету обещался, а платить не из чего. А барыне сказал – старушку, мол, с Федором-лихачом они задавили и вексель дали внучке старушкиной, мировую сделать. А барыня всему верила. А какую уж там старушку, красная бы цена ей рублей двести, – с руками бы оторвали, небогатый кто, за старушку. Я Федора допытывала – смеялся. Барин ходит-насвистывает. Как свистит, я уж и знаю, – деньги нужны. Ну, перестал свистать... кто-то уж ему снабдил, а то и прахтикой постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все:

«Есть же мешки с деньгами, и не умеют распорядиться!» – завиствовала вам, барыня, что шибко богаты вы. Завиствовала. Бывало, скажет:

«И образования у купцов у этих на медный грош, а деньгами хоть подавись!»

Ссердцов, понятно... тревожилась семейным положением. А тут барин в бега ударился. Да нет, никуда не убегал, а по бегам стал ездить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ездили на бега глядеть. Ниночка еще песенку все нам пела – «лошадки скачут, а денежки плачут». Катичка ее обучила, наслушалась от папашеньки. Аграфена Семеновна, носастенькая, экономка, бывало, скажет:

«Покатила наша барыня на бега, деньги лошадкам повезла».

Ну, как не помнить, Ниночка с Катичкой билетиками все играли, вы им из сумочки во-от какую кучку вытряхнете, пестренькие все, картоночки. Помню, приехали вы домой, веселые-развеселые, а снег валил, метель такая пошла, и уж темно стало, домой Катичку отводить пора.

А вы приехали, все-то в снегу, разрумянены, горячие, сбросили шубку соболью и давай по зале перед зеркалами танцевать, и пальчиками все прищелкивали. Как же-с, очень хорошо помню, в платье вы в самоновом были, рукава по сех пор, и такие вы счастливые были, барыня... и вдруг мне пять рублей золотой и подарили, ни за что! И Аграфене Семеновне золотой тоже выкинули, – сказали, что много наиграли. И красивые же вы были... прямо как купидомчик! Ну вот, вспомнили... засветились все, вовсе даже, барыня, помолодели! так и вспомнилось, какие вы красивые-то были. Да нет, вы и теперь красивые, барыня... да ведь у молоденьких своя красота, природная. И про билетики нам сказали, – каждый по большому золотому. Уж мы считали-считали, сколько же вы золотых-то наиграли... за две никак сотни золотых! А вы еще посмеялись: «ах, глупые-глупые, да это же все проиграно, а то бы я за картоночки денежки получила!» Теперь бы вот эти золотые... Да тогда разве думалось, что светопредставленье такое будет. Все в свое удовольствие, в себя жили, – вот и не думалось.

И барин в бега ударился, закружился. Его на прахтику требуют, а он по бегам гуляет. Барыня его как стыдила, ловить его ездила, бывало, для прахтики, – ни разу не поймала, увертливый очень был. И такой тоже развеселый, тоже Катичке картоночки все выкидывал. У нас тогда неприятность с барыниным братцем вышла. А как же, братец у них был, только незадачный вышел, по их сословию. Никому про него и не поминали, и к себе не пускали, от стыда. Аполитом его звали. Ну, не задался он у нас, у мамашеньки я тогда жила, его из имназии и выгнали, он и пошел на железную дорогу, в машинисты, и на портнишке женился. Черного уж стал звания, они и брезговали. Он придет, а барин в кабинет уйдут. И еще деньги он требовал, от мамыши наследство, а деньги-то они прожили, а он знал, что и на его долю было... тыщи четыре денег, записка у барыни была посмертная. Ну, и неприятности. Сперва-то он ничего, смирялся. Пришел к барыне крестить звать, она отговорила. Обиделся он, шкурами их назвал да сгоряча вазу китайскую им и разбил, – барин его чуть палкой не ударил. Скажу им – «Аполитушка вам братец родной, хорошего тоже роду, гнушаетесь-то зачем? а бедных жале-

ете. И он небогатый, руки мозолистые, пожалели бы его!» Перед знакомыми стыдились, что на портнишке женился. С горя-то он, узнали мы потом, в сацалисты приписался, всех чтобы разорять, с досады. Ну, разбил он вазу, она его выгнала, да расстроилась – побежала проветриться на мороз. А вы тут и подкатили на серых. Саночки легонькие у вас были, а кучер во-какой широченный, – как саночки не раздавит, дивились мы. Барыню не застали, а мы с Аксюшей черепки от вазы подбирали, как вы вошли. Ну вот, вспомнили. Барин с вами и покатили на бега. Я еще в окошечко залюбовалась, какие вы шикарные были, шик! Барин в ту зиму впух совсем проигрался, все туда денежки отвозил, как в банки... столько он просадил, – никакой прахтики не хватало. Вот тетеньку они тогда и начали донимать.

V

Бывало, скажут: не миновать – Иверскую подымать. Я-то понимала, чего греховодники думают. У нас не то что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барыня в спальню запрется-плачет, я возьму водицы святой и покроплю, помолюсь за них. Ну, будто они дети несмысленные, жалко их. Образов у нас в доме не было, барыня не желала, по своему образованию, и свое благословение, мамаша их замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катерины-мученицы повесить образок к кровати, да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталась, вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась, Никола-Угодник у меня висел, в дорогу-то захватила, и еще Казанская-Матушка. А у них, чисто как у татаров, паутина одна в углах, боле ничего. Да, насмех будто, барин статуя голого купил, «Винерка» называется, в передний угол в зале поставил, под филоденры, – вот и молись. И что я вам, барыня, скажу... – с чего-то нас пауки одолели! Ну, одолели и одолели, сил нет. Навелось паука, так и распространяется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела – опять паутина и паутина. Я уж барыне говорила:

«Смотрите, барыня, паука у нас сила несусветная... не к добру это».

Дернулась она, да с сердцем на меня так:

«Что ты мелешь? почему – не к добру?!» – а затревожилась.

«К пустоте, – говорю, – пауки одолевают... думается так, по-деревенски».

«А, глупости... любишь всегда тревожить!»

А я сколько примечала, про паука-то, что к пустоте. Ну, нехорошо и нехорошо у нас, так-то нехорошо-невесело... ну, вот чувствуется мне пустота-глухота, чисто сарай. Барыня и давай зеркала оглядывать, хорошо ли привязаны. Ужас, как зеркалов боялись, как бы не разбилось.

За тетеньку они, Иверскую-то подымать: тетеньку в гости звать, хорошенечко засластить. Привезут в карете, давай угощать-улачивать:

«Ах, тетечка... ах, милая... совсем-то вы нас забыли, и как вам, тетечка золотая, не стыдно... а мыто скучаем, а мы-то для вас любимого пирожка со сливками, да рябчиков с мадерцовым совусом, и грушки душистые, по зубкам вам... а Катюньчик без вас жить не может...»

Так она и растает. И новую рояль Катюньчику, и на музыканта ей, и выигрышный билет ей... А как проигрался на бегах барин, они и подняли тетушку, всуерьез уж. А она на ладан уж дышала, чуть жива, и палец все сосала, как малоумная. После угощенья барин и бух перед ней на коленки. Упал и зарыдал. Уж так-то возрыдал, и ручки ей целовать. А он умел зарыдывать, и слезы потекут, исхитрялся, от чувства так. Да я-то уж знаю, барыня, как они исхитрялись... И это у них сговорено так, с Глафирой Алексеевной. И глядеть-то, бывало, надоест, как они исхитряются. Как же не замечать-то, на моих глазах все... А гостей приглашать! спору сколько, будто дом покупать собираются: того не надо, какой от него прок, а эта прахтику может дать, обязательно надо завлечь... И место кому за столом какое – ну, все прикинут, чисто шелками вышьют. За глаза и ругнут, а зарятся. Фабрикантшу одну сколько годов ловили... только поймали, она и помри. Самую эту, Лопухову, доктору своему сто тыщ отказала, как барыня жалела!

Ну, упал-зарыдал, тетушка так и затрепыхалась, завохотала, кудри ему давай ерошить, в глаза глядеть...

«Ай, что такое, не пугай, Костинька... или опять накуролесил?...»

А она часто мирила их. А он рыдает!..

«Ах, у Глирочки чахотка в градусе, доктора на горы в заграницу посылают, а у нас нужда вопиющая, бумаги потеряли... поглядите на эту тень!..»

А барыня у притолоки стоит, бе-элая, напудрена, и в платочек покашливает. А тетенька слепая, за рукой не видит...

«Что ж вы мне раньше не сказали?! как можно запустить?!..»

Она сразу тогда – де-сять тыщ! Так всю и обглодали помаленьку. Проводят – и давай по зале танцевать. «Ах, милая старушка... ах, славная дите!» – так представляли хорошо, сама поверишь. Шутили-шутили да и нашутили. А вот доскажу. А померла она – и похоронить не в чем было, – в простом так гробу и схоронили, с одним-то факельщиком. И панихидки от них не дождалась. И старичку-лакею ее не пришлось за пять лет зажитого получить. Они ему старый умывальник вместо того отдали да царский портрет большой, старого царя.

А именнице она еще вживе Катичке отдала, летом на дачах жить. Мы с ней там и живали, а они редко когда заглянут. Там и с Васенькой познакомились, в крокет приезжал играть к нам. Тогда еще, примечала я, Катичка ему ндравилась. Ей годков десять было, а высокенькая уж была, в папашеньку, а ему к пятнадцати, пожалуй. С англичаном к нам приезжал, на высоких таких колесах, как в ящике. И у нас тогда миса жила, англичанка тоже, по фамилии Кислая... говорить Катичку по-ихнему учила, гордая да капризная... – все мы ее «кислая кошка» звали. А так обучила хорошо, все вон теперь дивятся, так за англичанку и признают, очень способная Катичка. А Кислая и влюбилась в барина! Как на икону на него молилась. Так-то она недурна была, жильная только очень, костистая. Что-то у них с барыней вышло, она и разочлась, сумочкой в барыню швырнула. А Катичке сказала – «всегда для вас все готова сделать!» И что же, барыня... ведь она как нам тут пригодилась, в загранице! Через ее мы англичанами чуть не стали, в Костинтинополе когда бились... Она бо-знять чего про нас наплела, чуть ни царского роду мы с Катичкой, письмо послала старичку одному англичанскому со старушкой, а они по морям катались, вот к нам и приезжают, к «Золотой Клетке», где мы служили... ресторан такой. И свой корабль у них, страшные богачи... И вправду, уж я по порядку лучше.

Да, так вот тетеньку и похоронили.

VI

Верно, барыня, много добывал, да на много и дыр-то много. Сколько у них утех-то было, на каждой тумбочке! Да они всегда порядочные были, худого слова про них не скажу, верно вы говорите, – а все не ангел. Без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали, а был у них Федор-лихач, так он всех по Москве его канареек знал, нашему бутушнику сказывал. А бутушник у нас заслуженный был, кресты-медали, крестнику моему дядей доводился. Вот мне крестник и сказывал... рыбкой он в Охотном торговал, рыбку мороженую нам нашивал, судачков, наважку, копчушечек... – придет и шепнет:

«А у доктора новенькая завелась, в Таганке».

А то на Арбате. А барыня и не чует. Начнет как барыне душистых груш привозить либо цветы в корзинках, так я и примечала – новенькую нашел. Да какие же сплетни, барыня... живая правда. А барыню дострасти любил, а из баловства, для разгулки так. Барыня ведь красавица была, графской крови, по дедушке, а потом их из графов отменили... барыня мне не сказывала, а барин ее корил когда, что, мол, графы твои фамилию профуфукали за хорошие дела... а она в слезы, его корить – «а ты подзаборный мещанин!» Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица, хрупенькая, на ладошку барин ее сажали и носили, как пирожок: «ах, галочка моя... ды-ах, цыганочка моя... ах, перышка моя!» – заласкивал. А баловство бывало. И по городам бывали, для прахтики когда ездил. А у кого не бывает-то, барыня, деньги у кого вольные да человек веселый! И закону у них не было, строгости-соблюдения, и в церкву не ходили, о душе и не думалось. Матрос-большевик, помню, говорил, в Крыму жили, – «все теперь наши бабы!» От Бога отказались, досыта лопали, ну и... – «у нас, – говорит, – кровь играет... на сладкое положение выходим!» Вот гроза-то на нас нашла, за Катичку как дрожала... расскажу-то. Вот и барин, от сытой жизни.

И в хороших семействах у них бывали, из прахтики. Да в разных... На энтих уж он не тратился, а все партреты свои дарил, на память. Цельная у него пачка была в запас, побольше, а то поменьше, по уважению. Были-то какие? Вот даже какие были, с аршин, самые уж уважительные. Да забыла я, барыня, фамилии, где ж упомянуть. Андра-шкина?... Помнится, была... Кто еще? Нет, про Сударикову не слыхала, а шелковиха одна была, только не Сударикова. Мелкова еще, в ресторане-то застрелилась, в заграницу ее увезли после. Да Господь с ними, барыня... Нет, Старкову что-то не припомню... А Локоткову, может, слыхали... у них меховое дело было? Тоже уважительная была; шубу барину какую сделали, за двести рублей, а ей цена за две тыщи. Тогда барыне соболью буу барин подарил, что-то недорого тоже, а какая буа-то... от мамы Катичке досталась.

Как не знать, и барыня про партреты знала, а умел так разговорить, – для прахтики так надо, пациенки желают, из уважения. Это уж все потом раскрылось... и вспомнить страшно, – в наказание так Господь послал. А то и в испытание... Анна Ивановна говорила, милосердная сестра. Вот святая душа была-а... расскажу-то вам. Сплетни-то доходили, и письма барыне подсылали, со зла которые, пациенки. Растроужится она, закричит:

«Негодник ты негодный, бабник ты, юбошник... не смей до меня касаться!..» – кулачками так затрясет. А он ей, удивится словно:

«Ты что, милая... белены объелась?..» Она ему в лицо шварк – письмо! «А это что?!.. Негодный ты, порститут!..» Повертит письмо, плечом подернет... «А, стерва... – скажет, – теперь понятно, это же она со зла, шельма, что финтифлюшки ее не принимаю, внимания не обращаю на эту рожу!..» Она и рассахарится, поверит словно: «Да-а... – скажет, – актерщик ты известный!» Всегда и извернется. Зацелует, у коленок поерзает, груш привезет, – и все. Понятно, в себе держала. А как накалит его, он шубу на плечо, дверью хлоп, и на свое взаседание, на всю ночь.

У них ученые заседания были, и еще казенные заседания, чтобы царя сместить. Это мне Глафира Алексевна по секрету говорила: партию они делают. Вот и сместили, добились своего... только вот порадоваться-то не довелось. А уж ждали-ждали... барыня все сулилась:

«Вот, няня, погоди, скоро всему перемен будет, по-новому все будет, Костик тогда над всеми больницами будет... и всем тогда хорошо будет... и тебе богадельню выстроим, для всех старушек, и всем хорошее занятие будет, и жалованье большое будет, трудящим всем. Хлопочем все, так хлопочем... партию делаем, для всего народа чтобы».

Вот и схлопотали, в Америку попала. Да что, про себя и не говорю, а... не поймешь ничего.

Ну, уедет он в заседание, и она в свое заседание, хлопотать. А то, под конец уж это, капли стала веселые в бок впускать. Впускала, барыня, своими глазами видала, как... и испортила себя каплями. Завеселеет, забегает, а там пуще еще расстроится, плакать ко мне придет:

«Ах, няничка... и что я за несчастная... и красивая я, и молода я, а Костик меня обманывает, чую!..»

А они ведь хорошенькие были, красавица из красавиц, все-то на них заглядывались. Ну, может, и не первая красавица, вы-то как говорите... а уж такая была красotka! Это вы правду, барыня, росточку небольшого и на цыганочку маленько похожа... так это с капель у ней личико желтеть стало, а то прямо ягодка была, как куколка какая. Барин дышали над ней прямо, так любили. Он рослый был, рука, чисто тарелка... посадит на ладонь и носит по зале, как птичку какую, – «ах, галочка моя... ах, бабочка моя!..» – всякие приберет слова. Скажу ей – Богу молиться надо, мысли и разойдутся. А и вправду. Где душе-то покой найти, о себе да о себе все, бо-звать чего и думается. Уедет барин, она все ящики у него обшарит, – нет ничего, все концы умел с хоронить. А то прибегла ко мне, – веселая, – «любит меня Костик, одну меня!» Письмо нашла, а на письме барин чего-то прописал, барыню какую-то обругал. А от такой раскрасавицы письмо было!.. Маленько и отошла. А скажешь ей про Бога, она так и закинется:

«Что ты, старая, заладила – Богу-Богу!..»

И Катичка вот, бывало. Это уж ее Анна Ивановна наставила, – молиться она стала, в Крыму уж. Да что, и в Америке жили – попрекала:

«И все-то не по тебе, ворчишь! Старый дух в тебе. Сколько было, все другие стали, все кверху ногами стало... с чего ты одна такая, никак не меняешься, как тумба? Старый дух!..»

А что вот и по-старому говорю, и куча я муравьиная, и платье на мне все то же, и платок ковровый с собой взяла, и тальма на мне с висюльками, – старое ей все поминается. Скажешь ей – а чего мне новой-то быть, не бельишко, не выстираешь, а какой мне Бог вид дал, такой и ношу, не оборотень какой, не скидаюсь... губы мне красить, что ли! Это нечистый образины всякие принимает, норовит все наоборот вывернуть. Ну, это как расстроится. А то – лучше меня и нет.

Про барыню-то я... страшно бывало слушать.

«Бог-Бог... что ж он мне не поможет, твой Бог!» – чумовая будто.

Так вся и исказится. Ну, известно, астеричная. И барин все, как вот вы сказали, – астеричная ты! А то косы распустит, – а волосы у ней чуть не до пят были, – обкрутится ими, шею замотает и кричит незнамо чего: «Ах, разведусь! Ах, задавлюсь... себя и его убью!..» А без него и часу не могла, так мог приворожить. Да вы их, барыня, сами знали, как обойтись умел. Борода одна чего стоит, шелковая, кудрявая, за плечо, бывало, закинуть мог. А как все по-новому стало, они и бороду обстригли... не узнать, болезнь уж ихняя началась. Бывало, в бороду духи льют, а потом вымоют, в полотенце закрутят, она и вьется. И голос приятный, и манеры такие благородные, все-то в зеркало красовались, хохолок взбивали. Барыня ему – «ах, какет какой!» Все барыни от них без ума были, барыня сама сказывала, и ей это словно приятно было. А чистоту любил!.. Принесет прачка трахмальные рубашки, все-то переглядит, перещупает, все им трахмалу мало, – грудь все чтобы гремела, горбом стояла. Прачка, бывало, пла-

чет: назад и назад, перетрахмаливать. Белья полны комоды, да все тонкое самое, голанское... а галстуки эти так и шваркали, чуть помяты. И помочи, и носки, и платки носовые, – все шелковое, цветное... и подштанники, извините, разноцветные, шелковые, и эти подушечки везде, для аромату, сашё. Что говорить, любили покрасоваться.

Вы-то, барыня, сурьезная при семейной жизни, Глафира Алексеевна за пример вас все ставила, а и вас даже приревнует. Да опасалась, ну-ка он с вами завлечется. Миллионерки были, всем соблазнить могли. А бриллиантам завистовала!.. И у ней чего показать было, от ихних графов еще осталось, а не сравнять, как можно... горели-то на вас, чисто вот как жар-птица. То вот как расхваливает вас, до бегов это еще, а то давай честить, уж простите. Да что говорила... разное, как придется. Дело прошлое, уж не обижайтесь на покойницу... а всякими, бывало, словами...: мне уж и говорить стеснительно-с. Ну, уж если угодно, правду скажу, не скрою... И хитрая-то она, и фабрикантша фальшивая, да-а... и месалиная она... И сама не знаю, какая такая мисалиная... а все, бывало, так – мисалиная... И ноги лаптем, и кукла золотая... – уж извините, от слова не станется, а всердцах мало ли что с языка соскочит!.. – и чего она к нам повадилась, и чего Катюньчика игрушками завалила... и деньги дерут с народа, и как посмела запонки Костику подарить такие... А вы куклу Катичке заграничную привезли, с нее ростом, и полон короб приданого куклина, не видано никогда, так все и издивились. А запонки... она их всердцах в этот... в клазет спустила! В клазет, барыня, сама барину повинилась. Только вы в заграницу, – она их и спустила. Барин ее кали-ил:

«Что ты наделала, безумная! боле пяти тыщ запонки, такие бриллианты!..»

Цену они уж знали. Не помните... А я упомянула, денежки-то какие! А, может, и от другой какой, спутала. Так серчал!..

«Это мне память дорогая, я Медынке с Ордынки жизнь спас!..»

За заставу покатыл, куда трубы подают. Да где там найти, со всей Москвы сплывает. Копались тамошние золотари, – барин им посулил, – не нашли. Очень вас, барыня, почитал. И портрет ваш на столике держал. Барыня схватит – и в нос ему:

«На, повесь в угол, молись на свою святую!»

А он ей смехом:

«Постой, лампадку вот дай куплю. Да глупая ты... да одну ведь тебя ценю, как золотой алмаз!»

Она и кинется к нему на шею, и за шимпанским сейчас пошлют. И меня угостят. Да я его не любила, по мне нет лучше ланинской водицы черносмородиновой.

VII

Правду надо сказать, с горя и она себе утешения искала. В церкву-то не ходила, о душе и не думала... ну, соблаз ей душеньку и смутил. И уберечь себя трудно, в их положении, – много народу увивалось. Еда сладкая, никакой заботы, музыки да театры, и обхождение такое, вольное, – телу и беспокойно, на всякую хочу и потянет.

Картинку с нее красильщик один писал, чуть не голую расписал. Волоса распущены, одно плечо вовсе голое, грудь видать, на подушках валяется с папироской, и цветы на ней навалены, и фрукты всякие, и кругом ее все бутылки, – будто арапскую царицу написал, за деньги показывать хотел. А ее вся Москва знала, барин и осерчал. И вправду, будто распутную женщину намазал: и глаза распутные ей навел, и ноги так непристойно, до неприличности. Он картинку-то у того и отнял, себе в кабинет повесил. И ту даже занавесил, а то и поглядит. С того все и началось, пожалуй. Стала она такая вольная, на себя непохожа, словно уж не своя, – испортил ее красильщик. В щелку гляжу, бывало, мазал ее когда... и за руки-то хватал, и за ноги перекидывал, и всю, как есть, перетрогал он ее, от стыда помаленьку и отучил. А она – хихи-хи... – чисто ее щекочит. Вольные платья стала нашивать, – стыд и страм. По портнихам, по модисткам... вырядится – страмно на люди показаться, барину и покажется. Он так и ахнет!..

«Гли!.. да ты не ты!..»

Будто приворожит его. А который ее мазал-то, урод косоглазый, на козла похож... возьми да и влюбись в нее. Проходу ей не давал. А у него вредный глаз был, он ее и заколдовал, глазом-то. Смеетесь, барыня... а сущую правду говорю. Сидит и глядит, колдует. Так помаленьку и заколдовал. Она уж как почувствовала, станет его просить, руками укрывается:

«Не развлекайте меня, не выношу вашего глазу!..» – и хохочет.

А он пуще уставится. А барин на прахтику уехал, в Богородск. Вот тот приезжает, глаз на нее уставил, и говорит, чисто ее хозяин:

«Вы беспрременно поедете со мной кататься, картинки мои глядеть!»

Вмиг собралась – покатила. Вернулась на рассвете, и вином от нее, слышу... – сама не своя, у ж он ее испортил. Два дни из спальни не выходила. А тот телефоном донимает! Она трубку об стол и расколола. Тут его колдовство и кончилось. Долго она болела, после того-то. Ну, что тут, барыня, антиресного?.. Ну, и еще было. Как сорвалась с закону, греху как приложилась, – и не удержишься, Бога-то когда нет. Был еще один, словно студентов учил... ни разу его я не видала. Скажешь ей стороной, а она сердится – не смей грязного думать, тут только приятельская дружба. А я к тому, что нехорошо перед барином, стыдно в глаза смотреть... – за письмами, бывало, меня гоняла, в секрет, на почту. А у меня глаз-то свой, не дареный... белье шикарное стала покупать, тонкое-то-растонкое, прачке отдавать страшно, я уж сама стирала. Ну, все и видно... что я, слепая, что ли! Исхитрялась передо мной, а совесть-то не заткнешь, – из глаз глядится.

Да чего, барыня, приятного тут?.. Ну, музыкант был, учитель Катичкин. Ничего человек, смирный, играет, да вздыхает, только и всего. Вот-вот, самый он, волоса длинные, на грека похож, и с бантом с белым, а только тихой. Греки – они шу-мные, я их знаю, в Костинтинополе как мы бились. Вот там греки шумели!.. Всех с тортуваров сшибают, никакой управы на них, турков они прогнали, а англичаны город им не дают, забрали себе под флаг. Им досадно, все и кричали: «сильней нас нет, всех покорим, со всех денежки стребуем!» Офицер наш один все их дражил, бывало: «и у петуха шпора, да не звенит!»

Ну, вместе сидели и играли на роялях. Поглядят друг на дружку – и опять заиграют. Может, и не было ничего промеж них, очень уж тихой был, музыкант-то. А глаза паялил, правда. В зеркало раз видала, как она его в маковку поцеловала... а он глаза так, через лоб, и воз-

дохнул. Ну, в налехции с ним ходила... Барин раз и перехвати письмецо! Подает ей, уж распечатано.

«Как ты смеешь письма мои печатать? – она ему. – Тут ошибка, ничего я не понимаю...»

«А я, – говорит, – понимаю. Был у музыканта, и была у нас музыка!»

Божиться стала, а то и не перекрестится никогда, хоть тебе крестный ход. И разочли мы музыканта. Я ему и жалованье в письме носила, щека у него была завязана, полтинник на чай мне дал.

Ну, сами, барыня, посудите: как же им дите воспитать, при таком-то хавосе. И давно бы от них сошла, да к Катюньчику привязалась, оставить жалко.

VIII

И чего только они над ней не вытворяли!.. А знаете, я чего думала, барыня?. А вот чего я думала. Наше семейство взять... Ну, барин хороший человек, такой благородный, чужой копейки не тронет, хоть ты ему тыщи-растыщи положи... очень по закону понимал. А барыня... и добрая, и образованная, сочувственная очень. И все барина уважали, и доктор он ученый, самый умный, и прахтикой много помогал... и такой тоже сочувственный!.. Лошадь под окнами у нас упала, а ломовик уж известно – в брюхо ее ногой, ногой. Обедали они, как увидели... выбегли на мостовую прямо, кричать, – в участок хулюгана-негодяя, в протокол писать!.. – животные были попечители... были ведь у нас такие? Вот-вот, из животного попечительства. А то в ведомостях чего прочитают... голод вот когда по деревням был, или кого строго засудили, за царя... а то и казнили, кто в высоких лиц бонбы швырял. Вон барыня расстроится!.. Салфетку бросит в суп, кулачками себя в грудь... кричит: «звери-звери!.. нельзя терпеть, нельзя жить, нельзя руки сложить! народ морют, убивают... а мы можем спокойно есть!.. не могу, не могу!..» Барин ей капель, все успокаивал: «не волнуйся, мы это все скоро переменим... все кончится!» Заплачешь – на них глядеть. Вот, думаешь, как по-Божьи надо, и в церкву они не ходят, а им Господь за доброту все простит. К бедным-то? Правду сказать, к бедным не ездил барин, а так сочувствовал... вредно в грязи рожать, зараза будет, все говорил... пусть в приюты идут рожать, в ламбалатории, и чистота там, и денег не берут. А прачка наша, у ней ребеночек поперек шел... сразу ей барин выправил, ни копейки не взял, – только трахмал потуже. И сколько от смерти спас, и женщин, и младенчиков... мертвеньких уж совсем вынал и в себя приводил!.. Вот как.

А иной раздумаешься – сколько же он ангельских душек помори-ил!.. Да я-то уж знаю, барыня... И за это деньги какие брал! и на что же денежки эти шли-и... в прорву, на баловство, в свой мамон.

Барыня все мне говорила, как и вы вот... – такая мадицина эта, требуется. А я-то знаю... грех покрыть помогал, ангельские душки убивал, пу-зырь колол! Когда мадицина эта, разродиться женщина не может, это я знаю. Ну, грех страшный, а всякий грех замаливается, только не грехи. Ну, на церкву бы подали, для души, или бы сиротам помогли... Скажешь барыне: нищие к нам заходят, надо бы на кухне подавать, как у мамашеньки водилось. А она – «лодырей разводить! на попечительство даем, там уж знают». Да не все попечительство-то знают. И канючки есть, и дармоеды, а сколько и живой нужды есть. А господа нужды живой не любили, расстраивались от нужды. Страницу приняла я раз, чайком попоила, а у ней палец гнилой, с морозу, всю она кухню пальцем нам протушила, правда, – как же они заопасались. А у нас в помойку котлеты выбрасывали, а про хлеб и говорить нечего. Это в Крыму мы с Катичкой узнали, как хлебушек добывается, и в Костинтинополе повидали, как в море с детьми топились, себя продавали за кусок... – вспомнить страшно.

Ах, барыня... у нашего батюшки девочка в ихней больнице померла, англичаны поместили, от сострадания. А мать и не допустили попрощаться... от заразы, будто... – и похоронили не сказамши. Пришла, а они уж похоронили, и не отпевали! От сострадания, говорят. Так матушка и упала на ступеньке. Может, и барин тоже, от сострадания... а думается мне – грех и грех.

А добрые люди, как трудящий народ жалели, очень помочь желали... у всех чтобы свои капиталы были, всем чтобы поровну. А вот жили на такие деньги. Да я знаю, барыня, не все такие деньги были, а... хоть половинка была такая, за младенчиков! Из Нижнего от мушника барышню привезли к акушерке ихней, грех покрывать: сколько хотите возьмите, остановите только последствия. Десять тыщ выклали! За грех-то и деньги платят. Остановил барин, проколол пузырь. Едят сладкий пирог, за пять рублей, бывало, покупали... и мне дадут. И при-

дет в думушку: а ведь это за пузырь мне, за ангельскую душку, сладкий кусок... за грех! Да я не осуждаю, барыня... а сумление во мне было. А вот слово я какое получила, от святого человека... а вот.

Это как нам барина в Крым везти, чисто вот сердце чуяло. Поехала я за Троицу, в пустынь, к старцу Алексею. Мне Авдотья Васильевна присоветовала, желанная такая. Ну, поговела я там... а уж царя сместили, все будто понарошку пошло, ползти стало. Мне старец и сказал... я ему покаялась, у таких, мол, господ живу, сладкие куски принимаю... так он и засветился, и глазки ручкой так заслонил... открылся – плачет. И пошептал мне:

«Родная ты моя, не смущайся, все принимай... и чужой грех на себя прими, а не осуди. Без нас с тобой судит Судия... и все мы грехом запутаны, а вот Судия и рассудит».

Всю тягость с меня и снял. И барин вот, как ему помирать... И правда, а то собьюсь.

Катичку укладываю, бывало, и станет страшно, как про их грех подумаю. Отплатится ведь за это! без того не пройдет, на ком-нибудь да взыщется. Да неуж, думаю, Катичке и отплатится?... И что же, барыня... отплатилось, так-то им отплатилось..! И Катичка, разве счастье ей? Да я, барыня, все знаю... вы не знаете, а я-то знаю. Ну, все-то мы, за что мыто теперь мызгаемся так? Самые, может, хорошие и страдают больше, за чужие грехи принимают, а уж Господь рассудит, все у Него усчитано. Вот теперь и нужду узнали, и в чужую беду стали проникаться, и как хлебушек добывается, слезами поливается... и в церкву стали ходить... – все у Него усчитано.

Ночью проснешься, как все-то вспомнишь... – да как же я сюды попала, в пустое место! да чего ж мы все толчемся тут ни при чем, как цыганы бродяжные... оттуда гонят, туда не допускают... В Константинополе жили мы.

Вот напугались как, слух прошел, – хотят власти нас большевикам отдать! Чуть-чуть не отдали, кто-то уж за нас вступился. Да как же так? – говорили все, – да где ж у них Бог-то?! А как же барыня говорила нам – самые они образованные!.. Уж вот уж повидала-то... Катичка тогда из себя вышла, калила их, калила... такой скандал, расскажу вам по череду. Так вот, говорю-то я... – проснешься, Господи, старая я, кому нужна, сызмала сирота, с девчонок по чужим людям... покарай ты меня, взыщи на мне, а Катюньчика не оставь милостью! На всем свете одна она у меня теперь, будто дите родное. И покойный барин меня просил, помирал... не забуду и не забуду.

IX

Да, про Катичку я вам... И чего только они над ней не вытворяли! Барин никогда пальцем тронуть не позволял. Бывало, пострашаю, нашлапаю за прокуду за какую, надо ж острастку ребенку дать. Ну, моду взяла какую... без горшочка ходить, а уж пять ей годочков было. По всей комнате крендельков наставит, а я подбирай. Я ее полотенчиком по заднюшке. Заголосила – и к папеньке. Он меня, – а он высоченный, как жандар, был, – за руку меня, загорячился:

«Ежели ты, такая-сякая, посмеешь еще Катюнчика пальцем тронуть, – духу твоего тут не будет!»

Через полчасика обошелся, в руку мне три рубли:

«Прости, Дарьюшка, за горячку... пропадет Катичка без тебя».

Стала я ее молитвам учить. Они ее до ученья ни одной молитве не обучили.

«Не смей Катюнчика глупостям учить, – барыня мне, – в молитвах твоих она все равно ничего не поймет».

«Да не мои, – говорю, – молитвы, а Господни... она не поймет, *он* зато понимает и не подступится».

«Глупости! Мы хотим сделать из нее своевольного человека... она сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться!»

Да чего же мне наговаривать на них, барыня, когда правда!

«Да какой же это мой Бог... опомнитесь, барыня! – говорю, – один у нас у всех Бог... Иисус Христос!»

«Ну, я тебе сказала. Если еще услышу глупости, можешь искать себе место в другом месте!»

Стала ей внушать, как же вы ребенка без Бога на ноги поставите, крещеная ведь она... надо ее по-Божьи учить, или никак не надо учить, а как собаку какую? И у собаки хозяин, а у ней... слушать-то ей ко-го? А горе будет, где у ней утешение?.. Повернулась и пошла. Да они и не окрестили бы ее, кабы не тетка... для тетки и окрестили, да и по закону надо, а то как же без имя-то? Ну, обучила ее «Богородицу» говорить, и «Отчу», и «Ангелу-Хранителю»... и просвирку за нее выну, и в церкву с ней зайдем к вечерне, гулять пойдем. А она охотница до церкви была, так руку, бывало, и оттянет:

«В телькву, няниська, в те-лькву!...»

Не нарадуешься прямо на нее. И ангелочки ей там золотенькие ндравились, хирувинчики с крылышками, – Божьими гуленьками все их звала. Скажет, бывало, забавная такая:

«А к Боженьке я когда уйду, тоже хирувинчик буду? А ты, няниська, не будешь хирувинчик? ты большая, тяжелая, не можешь полететь на крылышках, упадешь?»

Уж такая была смышленная да вострая... Я ей и накажу строго:

«Мамочке не сказывай-смотри, что мы к Боженьке заходили, а то прогонит она меня со двора».

Погрозится так пальчиком, губенки вытянет:

«Не сказу-у... мамотка Боженьку не любит, а мы любим».

Истинный Бог. Значит, у ней уж душенька говорила. Так бы и вести ребенка, страх Божий бы она знала, греха боялась. А дома ей другое в головку набивают. Барыня начнет ей набивать – слушать страшно... про человека да про человека, все что ни есть, он может. И кости человечьи в книжках показывала, и собачьи кости показывала, – одинаки, говорит. Барин и то серчал – рано ей, у ней мозги высохнут. Год от году стала она своевольная, сладу нет. Крестик на ней был, гляжу – нет! Мамочка сняла, грудку ей оцарапал. Купила я ей, хороший такой, серебряный. Опять мамочка сняла, а мне распек. В лицо мне стала плевать! Скажу ей строго – «в Господень лик плюешь, Боженька накажет!» А она, насмех чисто, в глаз попасть норовит.

Да еще спориться принялась, чужие слова лопочет: «глупая ты, мамочка говолит, делевня ты!» Как ее воспитать? Стала ее страшать, а к ночи было:

«Вот Ангел-Хранитель отойдет от тебя, нечистый и унесет, с рогами!»

Она – кричать-биться, полог на кровати изорвала.

Барыня на меня – «ты мне ее уродом сделаешь!» Заснет – я ее водицей святой и покроплю. А то какую манеру еще взяла: покрещу ее, зрячую, – она смеется:

«А вот и скажу завтра мамочке... крестила ты меня!»

Стало уж мне с ней страшно, – *он* у ж будто из ее ротика кричит. Стала она меня по щекам хлестать. Раз спустила, другой спустила, – она меня прыгалкой по глазу, залился глаз. Я ее по щекам и отхлестала, для острастки. Она к мамочке, с ревом, а та, дела не разобравши, да при ней на меня, с ключами!.. Так вся и исказилась:

«Ты, хамка... посмела лица коснуться!..»

«Погодите, – говорю, – скоро она и вас примется колотить».

Уж на что миса, англичанка, и та все глазами ужасалась, что Бога не хотят. А она в свою церкву ходила... и они тоже в Бога веруют... – и у ней над кроватью крест костяной висел, в веночке. Я им и на мису указывала, – глупей она вас, что ли? Тоже образованная, да еще англичанка.

И решила я отойти от них. Укладочку собрала, извозчика привела, а ни пачпорта, ни зажитого не отдают. А за ними сот за семь было. Не отдают и не отдают: «Катичка тебя отпустить не хочет». А та топочет, прыгает на меня, фартук на мне порвала, по полу кататься стала, ножками бить, – в мамашу. Барыня, бывало, с барином как повздорят, сейчас разуются – и в сени босиком, да зи-мой! Барин схватит ее в охалку и принесет, а она по полу начнет кататься. Из графина окатит – сразу и приведет в себя.

Ну, осталась я. И рада, привыкла к ним, – и обидно-то, будто и за человека не считают. Легла спать, а сердце не унимается. Плачу в подушку... – хорошая у меня подушка была, пуховая, на корабле пропала, из Крыма как мы поехали. Плачу и плачу, себя жалею. Барыня и входит, давай причитывать:

«Клянешь нас, жалованье не отдаем... лучшего места ищешь, на нас и выискиваешь! Ну, так бы и сказала, жалованья тебе мало...»

«Бога-то побойтесь, – говорю, – сердца я не уйму, а вы с грязью меня мешаете. Ну, семь моих сот за вами, не пропадут, знаю... а зачем над человеком мытарствуете! Всех жалеете, говорите... Не могу я глядеть на хавос ваш, родное дите губите...»

За голову она схватилась:

«Стыдно мне перед тобой, няничка... стыдно!..»

Упала ко мне на шею, трясется вся. Душа у ней добрая была, с семи годков ее знала. Ночь на дворе, метель, в трубе воет, и барина нет дома. И образов-то нету, а она бьется, чисто темная сила ее ломает, – страшно мне с ней тут стало. Покрестила ее украдкой – она и стихла.

«Виноваты мы перед тобой, няничка. Ты хорошая, а мы перед тобой... дрянь мы! И нет мне покою, и все-то ложь, и Костик меня обманывает...»

«Бога у вас нет, – говорю, – и покою нету. Худо у нас в доме, ху-до...» – все ей и выложила.

Так она и встрепенулась!..

«Чего ты каркаешь, чего худо?... что ты думаешь, умрет кто у нас?...»

В Бога не верили, а такие-то опасливые, – судьбы боялись. За зерькала дрожали, как бы не треснуло. А я и посмеюсь: в Бога не верите, а зерькалу верите? Да ведь это Господь зерькалом во-лю свою указывает, зараньше. А барин страсть покойников не любил. Как завидит на улице – назад, Федору кричит, в объезд. А по-нашему, покойника встретить – всегда к добру. Ну, другое дело – свадьба... Все-то у них навыворот.

Да... так и встрепенулась:

«Скажи, что тебе чудится, какое худо? или сон видала?...»

«Образов у вас, – говорю, – нет в доме, у вас все может быть».

«Что – все? что ты меня пугаешь? про Катюньчика чего чувствуешь... что – худо?»

А я чего могу знать, не святая, в сам-деле. А чудится – будет и будет худо. Катичка и заболел скарлатиной. Чего-чего уж она не вытворяла!..

«Ты накаркала... ты все!..»

«Опомнитесь, барыня, – говорю. – Господь видит, как же я могу скарлатину сделать? Пригласите лучше Целителя-Пантелемона».

А Катичке хуже да хуже, хрипеть уж стала. Доктора ездили бессменно, а ей все хуже. Говорят – была скарлатина, а теперь и вовсе дифтерит стал, будьте готовы ко всему. Тут она и погнала меня к Пантелемону, привези. Монах и говорит, – дойдет вам черед дня через три, а покуда помажьте болящую маслицем с мощей. Сказала барыне, а она кулачками затрясла: «вот, когда хочешь – тут и нет!» А я помолилась и помазала Катичку теплым маслицем, в украдку, и в глоточку капельку ей влила, – она и уснула, хорошо так. Поутру глядим – она уж и повеселела. А доктора и говорят, – теперь уж выздоровеет. Что ж вы думаете... не поверила, что с маслица это! Это, мол, от нового лекарства, профессор дал. Так Целителю-Пантелемону и отказали.

Так вот и росла Катичка. А умненькая была, такая-то дотошная, все мои песенки умела, гостям пела. А я их много знала. В деревне как сиротой осталась, меня в богатый двор взяли, дитю качать. А у них баушка была, такая-то мастерица сказки сказывать, всего-то-всего умела... с волости за ней приезжали даже. От нее и я наслушалась-набралась. Катичке я даже и певала, уж большая она стала, на театры когда училась. Может, за то и любит. То я ей глупая, дурей нет, а то... – «умней тебя, нянь, нет!» – это уж как разнежится. Василисой Премудрой назовет... Такая умненькая была, – юла-огонь. И в имназии хорошо училась, лист ей с орлами дали. Пятнадцати годков кончила, – хочу и хочу в театры, в наактрисы! Тут и пошла наша маета. Война пришла, а у нас в доме своя война. Вы тогда в загранице были, долго вас оттоле не выпускали, приехали уж когда царя сместили... Мы тогда барина в Крым повезли, а барыню ране того свезли. А вот, я вам по порядку уж...

Х

Стала Катичка на театры учиться, и пошел у нас дым коромыслом. И барыня в это дело пустилась. Пошли разные к нам ходить, ватагами, наговаривают и наговаривают, бо-звать чего. А то еще в стихи читали, да в голос, чисто по упокойнику. И всех корми. А прожо-ры-ы!.. Один все себя в грудь бил, кричал все – «хочу помереть! дайте мне яду сладкого!» – а барин... надоели они ему, – насмех ему: «а хотите помереть, ступайте на войну лучше!» Ну, чистая волконалия. Барин все так, бывало:

«Волконалия у нас стала!..» – шум его беспокоить стал.

Да жадные все, голодные... – со стола так и не убрали, чисто трактир у нас. С утра до ночи так и короводились, все наговаривали, чего на театрах вот представляют. А Катичка первая верховодка, такая-то блажная стала, умного слова не скажи. И еще с простынями танцевали, на цыпочках ходили, руками поводили, мода такая завелась... почесть что голые! И барыня туда же, с простынями. Ну, страм и страм. Да какие все самовольные, по комнатам шнырят, чисто родня приехала. Так за ними все и ходили, куда пойдут. Полдюжины столовых ложек серебряных у нас пропало, так и не доискались. Да колечко еще у Катички с умывальника смылось – всякого народу было. С гитарой один ходил, чистый ломовик, все выпимши, глупые песни пел, да про альхерея... все припевал – «горчишник я ширлатан!» – а те гогочут. В ванной я его и захватила, голову мочил... колечко-то и примочил. А как скажешь, – друзья-приятели! Ни время, ни порядку, – постоянный и постоянный двор. И кого-кого только не было... И цыганы ходили, и эти вот... пестрые кофты, разные рукава, самые-то оторвы. С ножом один ходил, в башлыке, зубами на меня щелкал, – баушка ему стала! Ну, мамай и мамай пошел. Да что... подушки со всего дома на ковры навалят, шальями пестрыми накроют и ломаются. Разуются все, и молодчики, и девчонки... на головах дутые винограды с елки, и розаны, на образа-то вот продают... все в простынях, плечи голые, ноги голые, страмота... и вино из кувшинов пьют, и все-то наговаривают, и все-то кричат – «мы боги! мы боги!...» – сущая правда, барыня. Уж на головах пошли. Уж это всегда перед бедой так, чуметь начинают... – большевики вот и объявились. Да я понимаю, барыня... не с пляски они, большевики... а – к тому и шло, душа-то уж разболталась, ни туда ни сюда... а так, по ветру. Уж к тому и шло. А дурак тот, с гитарой, так обнагле-эл... – закрыл Катичку простыней и обнял, совсем охальник. Барин как увидал, – за руку его в прихожую вывел да в ше-ю... и гитара его по лестнице зазвонила. Скажу барыне – кабак у нас, чему Катичка учится? А она все свое:

«Не лезь не в свое дело, глупая... не понимаешь ты, это иску-ста!..»

И только у всех и разговору – искуста-искусна, искусна-искуста... – а толку никакого, одни только неприятности.

А жизнь пошла беспокойная, военная. Барина тоже на войну забрали... ну, из уважения оставили, лазареты наблюдать. Барыня словно хлопотала, – из уважения ей и сделали, каждого могла заговорить.

И мундир ему выдали, и саблю. Он сейчас пациенток порастрес, – хороший у нас на дворе лазарет открыли, на сорок человек. И барыне занятие, раненых солдатиков навещать. Правду сказать – старались. Как первую партию привезли... а у нас актерштики были, и читатели, в стихи читали... высыпали глядеть. А солдатики грязные, повязки в крови, запекши... молодчики наши папиросок им, бутенброты, нахваливают... за нашу Россию стараются... очень соболезнавали. Еще один, помню, все добивался – «а страшно умирать, а?..» А солдатик, вежливый такой, – «страшно – нестрашно, – говорит, – а требуется!» – полон рот калачом набил, не проворотить. Барин, первое время, и дома не бывал, перекусит – и до ночи его не видим, на прием только приезжал, забота была большая. И денег нам тут посыпалось. Докторов на войну забрали, – ну, барина прямо на разрыв. Другую горничную еще взяли, для гостей, да

девчонку еще наняли, у телефона записывать. Никогда столько пациенков не было. Да Катичкина еще орава, – ну, непротолченная труба всякого народу стала. И откуда только бралось! Столько на войну забирают, а у нас все молодчики, не убывают, а прибывают. И наговаривают, и начитывают, и скачут, и пляшут, и друг с дружкой в обнимку жмутся и крутятся, страмота, – чисто все посбесились. Театральщики, уж известно, какой народ... все будто понарошку им, представляют и представляют. Правда, для раненых старались-утешали, по лазаретам ездили представлять, а у нас все и наговаривали. Катичка помостки велела в зале поставить, и рояль туда подняли, и картинки там красили, представлять. Скажешь барыне:

«Никаких денег у нас не хватит ораву такую кормить, – колбасы по пять фунтов на закуску, сыру, телятины что... белых хлебов десятка по три, сахару не напасешься, – тыщи на месяц мало. Да диви бы на пользу шло!..»

А она, высуня язык, только отмахивается:

«Война, всем надо помогать... надоела, не твое дело!»

Не мое-то не мое, а... Ну, мне уж под две тыщи задолжали, про себя не говорю, а лавошнику Головкову сколько должны, а он деликатный, только пошутит мне:

«Попомните доктору, Дарья Степановна... мы тоже и сахарок, и колбаску, и все прочее-иное и другое покупаем-с, а не от Ильи-пророка по знакомству получаем-с!»

Дадут ему сотню-другую – опять давай. Давал. Прознал, что барин на войну может посылать, а у него сына забрали, в вошпитале лежал, будто у него глаз не глядит, – ну, и старался барину услужить. А барин строгой был, никому поблажки от него не было, по закону очень. Ну, и забрал сына. Да еще серчал на Головкова, что за царя приверженный. И вот какой богомольный, Головков-то... хироносец был! А такой, хирурги за крестным ходом всегда носил, почтенный очень, собственный дом. Он за царя стоял, а барин и слышать не хотел – долой и долой. Они с барыней секрет знали – только царя долой, все новое пойдет, хорошее, им известно. Ну, не внял, послал на войну сына. А Головков в полицию донес: у доктора какие молодцы пляшут, а на войну их не посылают. Это с досады он. Дознавали, как же: по закону гуляют, от войны, – все калеки, по белому билету. Он тогда на нас к мировому подал, за долги. Это когда и судов уж сурьезных не было, а барин заболели... нам в Крым бумага приходила, приносил с красной лентой какой-то, не гордовой, а другой... говорил барину – теперь можете не платить, когда еще вас разыщут, а теперь все похерено. А сколько-то много Головков на нас насчитал. Так нас и не достали, а платить уж нам нечем стало, сами жили из милости у доктора одного. А у Головкова супруга Авдотья Васильевна, желанная такая... вот где это Дунай-река-то... Ну, как угодно, не буду отбиваться. А уж такое дело вышло, уж так я горевала... Ну, как угодно, а то и вправду, запутаюсь.

XI

Да вот, представлять они стали... Катичка тут всех и покорила, так за ней и ходили табунами. Помните ее, барыня, – не такая она уж и красавица чтобы писаная, да еще и в себя не вошла, как следует... что ей – шестнадцатый только годок шел... и росточку была еще не полного, а телом еще не обошлась, цветочек еще, бутончик. Теперь бы и не узнали ее, какая авантажная стала, самостоятельная, и манеры теперь у ней, даром что тонкая-растонкая, а... на всех производит! В Америке она голодом себя морила и на палках крутилась, чтобы потощать... так уж там полагается, а то и денег платить не станут. А и тогда складненькая была, акуратенькая такая, куколка и куколка. А глазки у ней и мамашины, и папашины, черные, огромные, живые такие... Барин все ее так – «ах, черные миндали, зажигают издали!» – пел все. Барин у ней взгляд был, смелый. У цариц вот такие глаза бывают, гордые. А волосы темные, густые, папенькины, – «каштанчики мои», – все, бывало, так звал. А личиком беленькая-разбеленькая, сквозная вся.

Уж барин ее нахваливал! души не чаял, – «фарфорочка моя, варкизочка ты моя!» – все так. А может, и маркизочка... забыла уж. И что такое?... ну, каждого мужчину приворожит! Все-то в нее влюблялись. И чем только завлекала, я уж и не знаю. Еще совсем девочкой была, а знала, что глазки у ней красивые. И тогда уж глазками поводила-красовалась. А папенька ей все-то набивал: «ох, глаза... будешь ты погубительница сердешная!» Ну, она и приучилась заводить. Так вот головкой чуть повернет, глазками поведет... – откуда набралась! А то пройдет, так вся и изгибается, очень гарциозная. Прибежит ко мне, вытаращится:

«Правда, нянюк, особые у меня глаза, а?»

Посмеюсь-скажу:

«У кого какие, а у тебя такие».

А захвалили. Все-то ей про глаза ее, что вот какие... Да не умею сказать-то, как говорили... нет, не выразительные, а истомные, что ли?... По-нашему сказать – с поволокою глаза, будто вот через что глядят, чисто вот обмирает, как тень на них. Один к нам ходил, актерщик... вот не любила беса!.. – тогда еще все внушал – «у вас глаза женщины!» Развалится на креслах, ножичком ногти точит, и все так, непристойно, – «же-нщина вы, малютка!..» А наши, умные, слушают. Поведет так, закатит, – будто она спросонков. И выучилась перед зеркалом вертеться. Особо плохого тут нет, покрасоваться-то... а к тому говорю, что уж очень собой-то занималась. И мамашенька ей пример давала. На что уж со мной, и то – уставится на меня, как на пустое место, словно вот через тень глядится.

«Ну, чего пялишься-то как нескладно, – скажу, – чисто ты пьяная!»

И все-то в головку набивали: «мы тебя за заморского прынца выдадим!» И нагадали: повидали мы их, заморских. И стали в нее, барыня, влюбляться. Конфетами завалили, вот какие коробки!.. и шелковые, и плюшевые, и цветы шлют, и корзинами, и так, некуда ставить, сад у нас прямо стал. Богачи стали наезжать, на своих лошадях, на автомобилях, на высоких колесах – беговой богач был... приличный народ, солидный. И шушеры много было, а и дилектора бывали, и генералы... – мед-то как завелся, так вокруг и закружились. И смех, и грех. Повадился старичок к нам, военный доктор, начальник баринов, только он генерал. Стал все цветы возить. Лет, пожалуй, за шестьдесят было, сухенький только был и шустрый, и бородку брил, а под глазами-то наплыло, не покрасишь... видно, что битая посуда. И рот у него кривой был, раздерганный. А живой, ножкой об ножку терся. И холостой. Та его и закружила, насмех. И печенье ему выберет, скажет – «вот, любимое мое!» А он ей тоже – «теперь и мое любимое!», и цветочек в петельку ему, и духами попрыскает, илиотропом, любимыми... Он возьми и посватайся, одурел! Так все и обомлели, – начальник баринов. А она и глазом не моргнула: «дайте подумаю... я ведь совсем ребенок!» Так он и засиял! И сгубила старого человека: посы-

лал-посылал цветы, да и простудился, помер, – у училища все дежурил, где театрам-то обучали. И еще князь ее провожал, тоже немолодой, а со шпорами ходил, высокий попечитель был... из училища ее привозил и письма ей все писал, по-французски. И она ему писала, для практики. Писем у ней было... полна шкатулка. А духов было... как в магазине, обливаться можно. Как в ванную лезть, цельную бутылку вольт, кожу щипет... голова кружится, не войдешь. Барин, бывало, – «дай-к а, Катюнь, даров душистых, а то все вышли!» Меня душила... Приду к себе спать ложиться, – не продохнешь, все подушки позалиты. В церкву прийдешь, дух такой от меня, людей стыдно, – платье мне обливала.

Ну, все влюблялись. А молодые – так, высуня язык, и ходили, как опоенные. Чего ж один изгораздился для нее... Велела она ему из зоологического сада живую лисицу ей принести. Он за сурьез принял да и попадись: ночью клетку лисицыну продрал и потащил лисицу, – она ему все лицо ободрала. На месяц в «Титы» попал, а про Катичку не сказал. Она ему цветов послала для утешения. Так уж все баловали – она и иссвоевольничалась, все-то ей нипочем, воображать стала из себя. А барыня не нарадуется. Меня уж и в грош не ставила, только и слышишь: «заткнись, старая улитка!» – истинный Бог. Спать ложиться, – ну, вертеться перед трюмой да охорашиваться, даже и рубашонку снимет. Оправляю постельку ей... – шелковая, царская постелька у ней была, белая вся, ангельская постелька, – смотрю-смотрю на нее, ну так неприятно станет. Она уж и так, и так, и головкой, и плечиками, и... Да еще меня допытывает:

«А что, нянь...» – это когда в духе, ласково всегда – нянь, звала, а то все – ня-нька! а то еще выдумала – ня-нища! – «А что, нянь... красавица я, а? лучше меня нет?»

Насмех и скажу – попова дочь лучше. Шуткишутки, а так погибель и начинается. Оглаживать себя примется, по бочкам, и так и сяк извертываться, – издивисься, откуда набралась повадкам! Плюну-скажу:

«Страмница ты, бесстыдница... ну, пристало ли девушке так себя красовать! на рынок, что ли, себя готовишь? Девушка скромностью красуется, а ты как солдат расхлестанный».

И ласкова бывала со мной, так и обовьется, и в глаза зацелует, и на лицо мне дует... ну, такая умильная. Она меня и теперь любит, все мои мысли знает. Только, понятно, стесняла я ее. Она мне тут шляпку носить велела, а мне стыд, будто я пугала какая, голова непривычная, не я и не я... И вот тальма со стеклярусом у меня, Авдотья Васильевна подарила, износу нет, – так ей она не ндравилась: страмлю я ее, допотопная я, старинный дух. Нет, любит она меня, горой за меня. С итальянцем схватилась раз, расскажу-то...

Прибежит в темненькую ко мне, как мне спать ложиться, за шею обнимет и ну целовать. Заерзает-заерзает у меня, прижмется комочком... – «Скажи, нянь... буду я счастлива, буду я любима, буду я богата?..»

И глазки заведет в потолок, будто чего там видит. Я и скажу:

«Ах, Катюньчик... и любима будешь, и богата... а вот счастлива ли будешь – это уж как Бог даст».

Затискается-заерзает, словно ей невтерпех:

«Ах!..» – вздохнет. А я и пошучу-поразвлеку:

«Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, а хоть за курицу, да на свою улицу!»

Она так вся и воссияет!

«Да как ты хорошо-складно! Да скажи еще... да какая ты му-драя... Василиса ты Премудрая!..» – И затуманится вся, зажмурится... – «Ах, хочу быть счастливой, хочу-хочу, нянюк... большого счастья хочу!..»

А выпало-то вон что. Счастье... да какое же это счастье, барыня... что крутимся-то так, партреты ее печатают? Душеньку ведь ее я знаю, спокою у ней нет... и себя, и других измучила. А уж про себя-то сказать... – не глядела бы ни на что. К чужому-то свое не прирастает. На солнышко гляжу, – и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и... Ворона намедни,

гляжу, на суку сидит, каркает... – совсем, будто, наша ворона, тульская!.. Поглядела, – не та ворона, не наша... у нас в платочке.

Ну, хорошо. И будоражная тогда у нас жизнь пошла, хавос и хавос. Война такая, некрутов гонят, раненых везут и везут, конца не видно, и по улицам на костылях все, да партиями, у всех горе кругом такое... того забрали, того покалечило, того убили... у Авдотьи Васильевны братца убили, и крестника моего ранило, рука повисла, – рыбкой который торговал... А у нас чисто балаган-пир: и гости, без исходу, и музыка у нас каждый вечер, и представлять подучаются, и... – так с утра до ночи и кружили. Из нашего лазарета солдатиков поглядеть пускали, а то и угостим. Меня-то они шибко уважали, доверялись... Ну и скажут, бывало:

«Кому горе, кому смех. Господа все войну затеяли, для удовольствия... ишь, какие все жеребцы-то у вас жируют, а воевать не идут».

Это как к концу стало, а то все были деликатные. Мы им и винца для здоровья подносили, барин нам доставал... – и пироги им пекли на праздники, – так-то довольны были!..

И отыскала барыня в лазарете где-то полковника... такого-то орла-красавца, в крестах весь, – ходила она за ними. У ней и косыночка была – милосердая сестрица. Стал он к нам бывать, по виску черная обвязочка. Так об нем барыня пеклась, такое ему уважение у нас было... – он и влюбись в Катичку. А у него трясение мозгов было, с пушек, – он и помешался от любви. Придет и сидит. И Катичка, примечала я, задумываться стала. Уж все разъедутся, а он сидит и сидит, в усы себе глядит. Да Катичке вдруг и скажет, чисто вот на образ молится:

«Голубой вы ангел! Вы сошли с неба!..» – и руки к ней, вот так вот.

А она губки кусает, так жалко ей. Мука была смотреть. А то раз и заплакала, убежала. А он и перекрестился вслед ей! Насварение мозгов уж у него стало. Ну, намекать мы ему – лучше бы не ходить. И барыня все расстроена, и Катичка какая-то такая, ждет все, когда придет... а сидеть мука с ним, с полоумным, и жалко-то его... Он и не стал ходить, понял словно. Три дни не был, нам из вошпиталья звонят: где полковник, почему не является. Поехала барыня, а там и говорят: поглядите вон, обмерзлого сейчас нашли за заставой, в снегу сидел. Ногу ему и отпилили. Так мы его жалели, плакала даже Катичка. Да, забыла я... сказал-то чего он раз: «Голубой ангел! Зачем вы сошли к нам с неба?.. Кро-ви сколько!..» – и за голову схватился.

Не раз Катичка про это поминала, как всего уж мы повидали, намучились и сколько всяких смертей видали, горя человеческого... Вот вам, и помешался, а правду чувствовал, прознавал.

И вот тут у нас и случилось...

XII

Был у нас вечер, для солдатиков из нашего лазарета представляли. И чего ж Катичка со своими короводчиками надумала. Иван-Крестителя в колодце представляли! Его будто в темницу Ирод-царь посадил, в колодец, а Катичка царицу-поганку представляла, как она царя завлекала, чуть что не голая плясала, все у Ирода добивалась: отруби ему голову, за любовь! Страшно, барыня, глядеть было, – над святым прямо издевались, да еще и под музыку. И клюквы надавили, похоже чтобы на кровь было, как ей святую главу на серебряном блюде подали. Мы с Аксюшей, и еще набралось со двора народу, глядим из прихожей, – да чего ж это такой делают-то, а?! да как так попускают!.. Пришел черный, громадный, с косарем, по самое пузо голый, и несет ей главу на блюде, из глины они слепили, и кровь будто с блюда капает, прямо Катичке на кисейку, и голую ее ногу видно. Стала она на главу глядеть, хохотать... – стук!.. – позади меня об пол что-то. Я так и вздрогнула. А это иконка из уголка упала, в прихожей которая висела, от жильцов осталась. Надвое и раскололась! Не сказала я своим, что их расстраивать, знаю – к худу. И Аксюша тоже – «ой, нехорошо как, к упокойнику!» Связала потом иконку, повесила. Лица на ней уж не видно было, старенькая, а словно Никола-Угодник-бабушка, по облику. И со двора которые были, стали уходить, – «ишь, – говорят, – как нехорошо!»

Кончили они представлять, барыня и спрашивает, пондравилось ли. А они всегда деликатные с господами, говорят – «благодарим покорно, хорошо представляли, ничего». А пошли к себе, мне солдатик и говорит, совсем молодой мальчишка... А он от божественного начитан был, хорошего семейства... вот он и говорит, бабушкой меня звал:

«Зачем, бабушка, господа такое показывают, это грех... про святого человека, Господа крестил, а она от него словно нехорошего добивалась, соблазняла! Иван-Креститель это, и так нехорошо, и воеет!..»

Мальчишка, а понял, что нехорошо. И постарше еще пеняли:

«Чего бы повеселей показали, а то как голову святому отрубили! Этого мы на войне вдосталь нагляделись».

Так мне с того вечера скушно стало, думалось все – так это не пройдет. А на другой день Васенька Катичке предложение и сделал.

ХІІІ

Он в ту зиму часто к нам наезжал, на рысаке, на саночках. И барин к нему очень располагался, и Катичка тоже ничего. Возьмет ее и повезет кататься. У них на Тверской дом больше милиена стоил, и сколько именьев было, и еще уголь они копали... угольные земли были. Один сын у отца. Такой-то молодчик, черноусенький, бобровая шинелька. А вежливый... цельный мне кусок шелковой материи привез, серебристая-муваровая, да плотная такая, износу нет. Я ее в Крыму на мучку выменяла... не привел Господь поносить. На именины мне подарил, такой уважительный. Ну, прямо как королевич, лучше всех. Барин все Катичке шутил: «угольная ты у нас принцеса будешь!» Ей семнадцатый пошел, а ему полнолетие выходило, только на войну его не требовали покуда. На анжинера он учился, на иликтрического. И Катичке словно больше других он ндравился. Да набалована, про себя очень понимала, вот и взяла манеру его дражнить. Скажет – заезжайте беспременно, буду вас ждать, – и час укажет. Заедет, а ее нет. Прибежит, много уж спустя, и давай отпираться: «да вы всегда напутаете, да я не обещалась, я вам в пятницу обещалась...» А у ней семь пятниц на неделе. А то – «артисты меня провожали, совсем забыла!» А он у нас уж за жениха считался, только от него разговору не было.

На масляной, – другой, никак, год войны был, – приезжает вдруг к нам его папаша, а раньше никогда не бывал... солидный такой, в бобровой шапке, большая борода, с проседью, – князь и князь. А зараньше сказал барину по телефону. Барин его в прихожей встретил и в кабинет увел. Поговорили, – уехал. Вечером барин и спрашивает Катичку:

«Вот какое дело, решай судьбу. Я поблагодарил за честь...»

«Какая-такая честь?... Это для них честь!..»

Сказал ей, глупой, так всегда полагается, благодарить. Да как же не честь-то! Семейство хорошее, милиенщики, тайный он генерал был, вот он какой был... вот-вот, советчик. А у ней тело-душа, больше ни шиша, дюжины рубашек не наберется, мамашенька все не удосужилась припасти. И так всем понравилось, как Васенька благородно, через папашу, а не то чтобы... взял под ручку – и волокит к венцу.

«Ну, как же ты думаешь? – говорит. – Василий Никандрович приедет завтра... Как ты думаешь?..»

Заюлила она, затеребилась, в зеркало погляделась...

«И чего это предки... – ишь, слово какое исхитрилась! – чего не в свое дело путаются! Хорошо, приедет – поговорим».

Барин со смеху прямо покатился, поцеловал ее.

«Откуда у тебя такие слова... артисточка ты моя!..»

Пондравилось ему очень, какие слова умеет.

«Я, – говорит, – серьезно говорю... в какое ты меня положение поставишь, как откажешь! Лучше по телефону предупредить, как-нибудь...»

«Я, – говорит, – не думаю отказывать».

Так мы обрадовались, барыня расплакалась, что вот уж и выдадут. И Катичка губки подобрала, уставилась глазками в пустое место, умеет она так. Известно, судьба подходит – каждая девушка себя жалеет. Заплакала я, пошла к себе, три поклона положила, дал бы ей Господь счастья... радость-то ведь какая! А мамаша у Васеньки померла, вдвоем они жили. На что уж лучше, – сама себе хозяйка, и к свекрови не привыкать... ну, клад дается. Барин мундир надел, саблю прицепил, поехал с визитом к ним.

XIV

Говорят вот, барыня, – богатство-богатство... и на погибель оно, и к лени приучает... – по человеку глядя. Всего я повидала. Графа видала, несметный богач был, а мне полсапожки чинил в Костантинополе. А генерал посуду со мной мыл, в «Золотой Клетке» мы с Катичкой служили. И Васенька, кем-кем только не был... а как поднялся опять, все в Америке уважают. А простой-то какой, душевный... – вот и из богатства вышел. Все ведь по человеку. Свинью и золотом окуй – все свинья. Я к тому, что вот говорите – нищие да нищие стали. Это не страшно, барыня, нищим стать... страшно себя потерять. Граф Комаров вон, какой неприступный был, на человека не глядел, раньше-то. А теперь он в комнатке живет и куколки красит... может, и во святые попадет. Пришла к нему Марфа Петровна, бельецо ему починить, а у него только и есть, что на нем, – бедным пораздавал. Принесла она ему пяток апельсинов. Он на нее даже перекрестился, совсем уж блаженный стал. И говорит – «садись, сестрица, чайку попьем... мы все теперь братцы и сестрицы, нас Бог сравнял... чума нас излечила, душу свою найдем, и наша Россия-матушка душу свою найдет». Плакала на него Марфа Петровна, так растрогал.

Ну вот, завтра Васенька приезжает, а я, любопытная я... за дверью послушать стала, а наши уехали, не мешать. Он и говорит:

«Что вы, Катерина Константиновна, скажете... я прошу у вас руки?..»

А то Катичкой даже звал, а она его и Васькой величала, – раньше, правда, это бывало. До слез ее доведет, дражнится, – до чего дружны были. А не ндравилось ей, что Катериной ее назвали. И барыне все хотелось... Му-за назвать. Барин ее засмеял, все так – «Муза-пуза»! Ради тетки Катериной назвали. А я песенку все ей пела, – баушка та, у кого я в деревне жила, певала:

Катерина на перине,
Перед ней стоит детина,
Просит Катеньку учливо,
Ты скажи-скажи, Катюша,
Скажи, любишь али нет?

Васенька ее и дражил – Катерина-наперина! А тут сурьезный такой, узнать нельзя. И она тоже в сурьез вошла:

«Ничего не могу сказать, подумаю».

Он так и обомлел, шатнулся. И я... – ах, ты, думаю, ломака-ломака... да что ж ты делаешь-то! Он ей опять:

«Могу я надеяться?..»

«Можете, – говорит, – надеяться».

Помялся-помялся... она молчит. Потом уж я догадалась, это она к советчику бегала... – а вот, доскажу. Ну, уехал. Стали ей говорить, а она:

«Я ему не отказывала, я хочу подумать».

Хвалить ее стали, за характер. Ездил Васенька, ждал, когда надумает. На рождение подарок ей привез, царский, бриллиантовый кулон, за пять тыщ. Барин ему еще попенял, как такие подарки дорогие. Извинился он, а кулон у Катички остался. И пошла эта канитель.

Она все с актерщиками, с подружками, а они вольные, никто ни во что... ну, ей и набили в голову: такая молодая, да что, дескать, связывать себя... не будете теперь на театрах представлять, – турысы на колесах, из зависти. Потом сама мне сказывала.

А первый заводчик – такой неприятный человек, актерщик тоже... вот не любила я его!.. Лицо у него обсосанное было, серое, чисто бес. И прыщавый весь... все за Катичкой увивался, а

сам женатый. А знаменитый будто... барышни все его портреты покупали, а плюнуть не на что. И у Катички над постелькой харя его висела, а рядом картинка – Богородица, только заграничная, не наша, Мадонна называется. Чего-чего у ней не висело!.. Люди какие-то ненастоящие, синие все, головы скошены... не поймешь – метлы не метлы, и снег синий, нарочно все. Ну, песья морда, а все влюблялись будто. А Катичка так перед ним и трепетала... – чем уж заколдовать так мог! Вот через того беса все и пошло.

Ну, ездил Васенька. А характер у него благородный, покорливый, даром что богачи такие. Приедет – посидит, а она по Москве шлендает, время не знает. На Пасхе он ей и говорит:

«Ответьте мне окончательно, я должен решить важное дело».

Она ему три дни сроку дала. Ну, приехал, она ему вынесла кулон...

«Я, – говорит, – рано замуж не хочу... мне надо учиться на театры».

И давай свое: искуста-искусна... – ну, чисто у них молитва это. И актерщик тот, выгнали которого, в Америке... тоже ей все – искусна, искуста!.. Да он-то хитрый, своего не упустит, а она разиня, жизнь-то ее и обобрала. Хорошо... Он ей – полная воля вам, учитесь, – все уговаривал. Одни мы в квартире были. Я в столовой солдатикам варежки вязала, а они в рукодельном салончике. Слышу – стукнулось об пол чтой-то... гляжу в шелку, а он на коленях перед ней! А она сидит на креслах, чисто царица грозная, в глазастую шаль закуталась, как кукла спеленута, – хоть бы что! Видно мне ее в зеркале, как она пустыми глазами смотрит. А бе-элая сидит, губки поджала... а он на нее, как на икону, молится. Такое меня зло взяло... – будто это она театры представляет. Все, бывало, с бумажкой перед зеркалом вертится, наговаривает бо-звать чего, язык выламывает. Да еще меня спросит: «что, хорошо я представляю?» Скажу – ничего не хорошо, вся уж испредставлялась, на себя непохожа стала, бормота одна. Она и рада! Вот выламываться начнет, наскрозь все зеркала проглядела. А то руку вытянет, – «Смотри: как из слоновой кости рука у меня!»

«Ну, и что хорошего, – скажу, – у человека кость Божья, а у тебя уж слоновая стала».

Душить меня примется, хохотать. А потому и вышучивала ее, в ум чтобы привести.

В зеркало все мне видно, как она на себя глядится. Он ее молит, – скажите мне последнее слово... – а она ему враспев так, зевает словно:

«Да я еще не зна-ю... да хочу себя уве-рить, люблю или не люблю-у...»

Тут уж он осерчал. Встал и говорит, твердо так:

«А долго это будет, когда вы себя уверите?»

«А это как зависит... может, и год... а может – и пять!...»

Чуть я не крикнула – ах, ты, ломака-ломака! С пеленок ведь ее знаю, шлепала недавно... хороший человек страдает, а она – в зеркало!.. Он походил, пальцами потрещал... А она головку так, и пальчиками перебирает, а сама глазком на него выглядывает. Вот он и говорит:

«Прощайте, и будьте счастливы».

И пошел. А она вдогон:

«Погодите, не уходите...»

Он сразу обернулся, а она на столик показывает:

«Вы забыли... возьмите ваш кулон».

Так он и озирился! Сунул в карман, как спички, и пошел, ни слова не говоря. Я ему пальто подала. А картузик он забыл, – на лестнице окликнула, отдала. Только ушел – Катичка ко мне:

«Что, ничего не сказал?..»

«Ничего, плюнул только! – и сама плюнула. – Швыряйся, матушка, прошвырнешься».

«Ах, надоела ты мне, скрипучая улитка!» – мне-то.

Навязалось на язык – улитка и улитка. Плакала от обиды: вот уж и улитка стала, как червь какой. Ходила за ней, ночей не спала, пеленок за ней что, за мокростой, перестирала... –

и теперь я улитка! Да знаю, барыня, не со зла она, а с озорства, сердечко у ней доброе... а обидно. Да что, к тому и шло... а вот что людей людьми перестали считать.

Вас не было, как царя сместили, а мы всего повидали... как старичка мальчишки с ружьями на грузовике стояком везли, за руки держали, да по шее его, по шее... Без шапки он, лысенький, прикрыться нечем, а они его держат за руки, и по шее, по шее... Никто и не заступился, – он, говорят, генерал! Что ж он, не человек? Поди-ка, дослужись до генерала, – не золотарь. Крикнула – «старого человека, живодеры!..» – чуть меня бабы не разорвали. А старичок раньше генерал был, а потом домик рядом купил деревянный, с садиком, и курами на покое занимался. Как царя смещали, хавос-то пошел, бабы у булочной шуметь стали, хлеба мало выдают, немцам, мол, передают. Ну, он вышел к воротам, стал резонить, дурами и назвал. Его бунтари схватили – и давай! Выпустили после, а никто и в протокол не писал, били-то его... полицию уж разогнали. Ходила его утешать, – яички мы у него свеженькие брали для Катички, – он мне и жалится:

«Два сына воюют, а отца тут бьют... – и заплакал в яички. – Теперь нам-старикам помирать надо».

Скоро и помер, в голову ему кинулось. И лучше, помер-то... дальше уж не видал, самого светапредставления.

XV

Ну – улитка и улитка. А то – «выметайся-выметайся», – чисто я пыль какая. Да любит она меня, а к тому говорю, чему ее научили, как с человеком обходиться. Не понимают, барыня... сущую правду говорю. Вот, барыня говорила-то: «для бедного сословия хлопочем!...» – а вон как схлопотали, себя не сыщешь. Умные будто хлопотали, а... с кого спросишь-то! Они из книжек все, жизни нашей не понимают, а книжки плохой, может, человек писал. А ведь я им верила, господам. Из заграницы приедут – вот нахваливают: чи-стый рай там, никого не обижают, все друг дружке вы-кают... и жалованье всем какое, и умные все, и благородные... у нас бы так! Раздумаешься, – несчастные мы какие, а там и бедных нет, нас-то за что обошел Господь!

Повида-ла теперь... в Крыму еще повидала заграничных. Все понятие повидали с Катичкой. Ни в жисть бы не поверила, расскажу вот. Барыня померла, не повидала, как меня, старуху, за ворот... да щеголи-то какие, на острова как нас вывезли из Крыма. Катичка так и ахнула, что они говорят про нас.

Стали нас выпускать... Это уж как мы сколько ден у берега качались, на корабле нас держали, от заразы будто. А которые говорили, – пускать нас не хотят, большевикам сдать чтобы. Ну, решили допустить... исхлопотал нас кто-то. А сколько-то тыщ казаков наших, потом уж это мы узнали, они к большевикам отослали, на муку-мученьскую. Хлебца им пожалели... А нас-то барыня... дочиста ведь ограбили! Мы сколько без хлебушка сидели на корабле, а округ нас на лодках ихние торгаши, хлебцем машут, выманивают!.. «Давай ба-ра-слет... кольцо давай, дипломат давай!...» – с голоду все отдашь. До ниточки раздели, у кого не было запаса. Повидали... Ну, стали выпускать. А мы все напужены, разорены, больные, лица на нас нет, немые, семьи все поразбились... у того девочка померла, та мужа не найдет, у того мать-старушка кончается... – ну, самые мы несчастные. Да все тошнились, страшные мы расстрашенные. Говорили нам – в рай сейчас попадем, так-то нас обласкают, все тут самые образованные. А я-то уж их знала, все пороги у нас обили, в Крыму, из Катички. А на берегу они и стоят, такие молодчики, хлыстами по сапогу бьют. И при них стража с ружьями, – для почета, говорили. Катичка и слышит, понимает ихний разговор... а они думают – все мы неучены, каки-нибудь арапы, не понимаем: «и чего к нам везут сброд этот... корми еще их, изменщиков!» Так Катичка и обомлела. А она огонь-порох, сердца не удержала, и крикни им... истинный вот Господь, она мне потом сказала:

«А вы утопите весь этот сброд, и не придется кормить! С младенчика и начните, с грудного вот!... – на младенчика, правда, показала, – а потом вот старушку эту...» – и за руку меня к нему дернула, к молодчику-то с хлыстом. А тут мурластый один, в золотых тесемках, кулаком меня отпихнул, а другой за ворот дернул, к Катичке я рвалась. Стала она кричать: «Топите нас всех!.. утопите, утопите!...»

Напугалась я, ну-ка она упадет без памяти, бывало с ней. Те – от нее, картузы посняли, бормочут что-то, а она пуще пушит!

«Или рано еще топить?.. Не все карманы вывернули, пользы мало?! Лучше нарежьте, съешьте!...»

А потому... все ведь, барыня, знать надо, в Крыму что они разделявали. Показали они нам себя, как всякое добро на корабле волокли, за грош. Потом молодчики эти в гости к нам приходили, такие вежливые... ну, вот подите, лукавые какие.

Ну, хорошо... улитка и улитка. Ушел Васенька, накричала на меня – и давай по зале танцевать-напевать. А на сердце кошки скребут, по голоску уж слышу. Уж так я ее знаю, лучше себя. Попрыгала и ушла к себе, притихла. Послушала за дверью, – в поду шк и икает-плачет.

Я так и знаю – примется меня звать. С детства у ней уж так: чуть что, и – ня-ня! Слышу – ну, как маленькая когда была: – «ня-ань... подии...»

Вошла, села к ней на постельку. Она одним глазком выглянула, – глазки-то у ней сухие.

«Скажи, не застрелится он от меня?» – в подушку, стыдно уж ей меня.

«Есть с чего стреляться! – говорю, – завтра за него первая графиня выскочит, не тебе чета... мигнет только».

Ну, чисто я нагадала! А вот, послушайте. Поулыбалась она как-то так, завела глазами... – «Завтра же прибежит».

И просчиталась, больше и не пришел. А она все окошки проглядела, два дни никуда не отлучалась. В телефон зазвонят, – так и бежит. А барин и прочитал в ведомостях, – на раненых бриллиантовый кулон пожертвовали, и пропечатано так – «от русской девушки», а по фамилии не сказано. Сразу и догадались. И всем пондравилось, благородно как поступил. И Катичке пондравилось. Поджала губки – и говорит:

«Как это красиво... я его уважаю...»

Я еще ей сказала:

«Не красиво, а доброе дело сделал... а красива-то лошадка сива. Нужно ему твое уважение, как же. И сиди без кулона, за тебя кто поносит. А это уж он, выходит, будто похоронил тебя».

«Как так похоронил?!»

«А так. После покойников все так, либо на церкву подают, либо на помин души бедным раздают. Вот он кулон за тебя на солдатиков и подал. А бес тот твой разве бы подал, – сам бы и прогулял. Какой-такой... а на стенке пришпилен, молишься на него».

Маленько поскучала. А барин очень хотели. Партия такая, и приданого не спрашивал, и человек хороший... А у барина долгов... сразу бы и покрыл. Он уж и проговаривался, с барыней когда. А Глафира Алексеевна еще и похвалила: умеешь, дескать, себя ценить. Королевича, что ли, ей, – ценить-то! Набили ей в голову... А я, про себя сказать, чего ждала... Богатства ихнего мне не надо. А так, думалось по-человечески... – вот, гнездо завьют, к Катичке перейду, за хозяйством попригляжу, детки пойдут... Да и на безалаберь ихнюю смотреть уж надоело, и к Катичке я привыкла. Она все мне, бывало, сулилась:

«Вот, нянь, погоди, выйду я замуж... я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам...» Это еще когда ей годков двенадцать было, вон когда, рассудительная была какая. «Я тебе сама глазки закрою, похороню тебя честь-честью, как Иван-Царевич серого волка хоронил...»

Что уж теперь, честь-честью... Свалят куда-нибудь, и лежи с чужими, никто и не придет. И земля тут словно какая-то ненастоящая, не наша. Ни вербочки не видать, ни березки... и цветочки не наши, и травка на нашу не похожа, и снежком не укроет на зиму, а все грязь... и не потает, бугорчков-могилки не покажет... Господи-Господи!.. Придешь, бывало, на Фоминой, на Даниловское... с Авдотьей Васильевной мы все хаживали, закусить с собой брали яичек крашенных, пирожков с яичками, кваску бутылошного. Весь день проведем, бывало, на могилах, родные у ней там схоронены, маргариточек мы сажали с ней. Че-ремухи, рябинки, бузина... и вербочки уж, зеленые-зеленые... и куриная слепота, и одуванчики желтые, и крапивка молоденькая, к заборчикам... на щи зеленые наберем дорогой... Весной пахнет, и грачи кричат, гнезда все по березам... весело так, и помирать-то не страшно. И крестики родные, и лампадки где горят... тишь такая. А к вечерку как пойдем, у прудов заросли такие... Пасха ежели поздняя, соловушки поют! Ну, что ж это такое только!.. И везде народ, родное все, барыня... и на пьяненьких не обижаешься, весне-то рады. А тут... что уж и говорить. В церкви вон читают, придет день Страшного Суда, все воскреснем... – и очутишься бо-звать с кем, не в своей стае-то. Там, барыня, неизвестно, как очутишься, а думается так, по-живому...

Да-а, сама тебе глазки закрою... Одна осталась. А в богадельню, правда, идти мне не желалось. Барин меня все в богадельню обрекали, а там тоже не сладко, в какую попадешь, а в иной и наплачешься... карактерные старушки тоже бывают, с утра до ночи друг дружку поедом едят, сказывали бывалые, – вот и живи из милости. А я уж обыкла сама по себе, на полной воле, захочу, – к утрени пойду, захочу – самоварчик поставлю, чайку попью с теплым калачиком... Ну, так все и расклеилось.

XVI

Да как загостились-то я у вас, барыня, разговорами занялась, а уж и темно скоро. Да как же так, ночевать... вас-то, боюсь, беспокою? А барин не осердится? Ну, дай им Господь здоровья. Уж такая голова, народу что кормили, на фабриках. Сорок тыщ?! Подумать страшно. И на всех хватало, каждого-то обдумать надо, на каждого припасти. Меня-то уж им где ж упоминать. Пройдут они, сурьезный-то-сурьезный, а мы так и затрепетаем, – как царь прошел. И граф Комаров вот тоже, какой неприступный был, расшитый весь, золотой, чисто икона в ризе, а теперь куколки вон красит. Ну, что ж, если не скучно, доскажу вам.

Сколько-то прошло, барин и узнал, – Васенька на войну охотой своей пошел. Катичка и говорит – это через нее он, отказала-то ему, – и словно приятно ей, глазки так заблестели. А барин все что-то уставать стал, и раздражительный, не дай Бог. Зачем-то его в в Петербург потребовали. Барыня мне шепнула – на казенное заседание его позвали, царя сместить. Министры, говорит, все сгнили, а царь делом не занимается, с монахом с распутным все, – все вот и развалилось, барина и позвали дело поправлять. И на дворе стали говорить, – монах царицу заколдовал, немцам нас продают. А жили хорошо. Солдаткам от казны паек шел, и на детей выдавали. С нашего двора одна в кондукторши поступила на трамвай, – видано ли когда! – и на заводы баб стали принимать – в бонбы порошу насыпали, по три рубли на день получали. А уж рядиться стали!.. – прямо все бабы посбесились. Кругом лазареты, писаря, шоферы... ну, и пошли крутить. В Кудрине у нас что только к вечеру на «пупке» творилось! А такой бульварчик круглый, «пупком» прозвали. Так и кружатся, как собаки, чистая срамота. Солдатики из лазаретов бегали, горничные, солдатки... уж наряд стали посылать, с ружьями, разгонять. Придешь к Авдотье Васильевне, желанной моей, чайку попить... дверь в магазин открыта, все и слышать, какие все стали смелые: про царя говорят – слушать страшно. А Головков очень приверженный, хироносец был, и за царя стоял, за закон. Спориться начнут, а он горячий... – Авдотья Васильевна так и затрясется вся.

Барин приехал из Петербурга – все руки потирал, – «скоро, говорит, все перевернется!» Уж ему главное место обещали, докторово. А я, правду сказать, не верила, что хорошо-то будет. Ужли, думаю, и нашему барину власть дадут? И своих-то денег не усчитает, а с казенными и совсем пропадет. А к нам професыр ходил, в очках ничего не видел, и ему высокое место обещали, суды судить. Все, бывало, шутил со мной:

«Ну, няня, Богу за нас молись, всех твоих внуков обеспечим, все у нас по закону будет: и зевать, и чихать, и щи лаптем хлебать!»

И я ему, шуткой тоже:

«Да много законов писать придется, на нужное не хватит, батюшка».

На Катичкины именины представление у нас было, парадные гости были. Из Петербурга князь был, умный такой с лица, только все молчал, а все к нему с уважением. Барыня мне шепнула: «ндравится тебе, вот бы царя такого?» А я еще ей сказала – да как же так, царя... на всех похож, и страха никакого, ногу на ногу кладет, и Катичка ему глазками все смеется? Им, может, и хотелось царя такого, знакомого, а на царя-то он непохож. Так вот и остались безо всего. А Катичка чужую царицу представляла: вся спина голая, и перья на голове. И бес тот был, морда обсосана, представлять учил. Гляжу – все-то он за ней да за ней. А коридор у нас темный. Слышу – Катичка бежит. А я... за шубы я схоронилась, гляжу, – за плечики ухватил и в голую спинку целовать, взасос! А она только ежится. Я тут и не утерпела: «вы что ж, говорю, охальничаете, в хорошем доме?!» Катичка – ах! – кошкой от меня, а бес на меня, скоком:

«А, – говорит, – Агафья Матре-новна, – насмех так, – хорошо мы представляем, ндравится вам?»

Фукнул через губу, – все, с бесстыжего чего взять. Уж чем бы все это кончилось, если бы не Господь! А вот.

Дня три прошло, прибежала Катичка, сама не своя: шубка растерзана, в снегу вся, ботик потеряла, и плачет, и хохочет, ничего не понять. А к полночи уж, я с постели, помню, соскочила. На тройках с актерщиками, говорит, каталась и человека задавили, у Трухмальных Ворот, со страху с саней прыгнула, ботик потеряла, и все. А барин опять чтой-то прихворнул. Звонок в телефон: из участка, барина требуют, в протоколы пишут. За голову схватился, покатыл. А мы за Катичку принялись. Она и призналась. Значит, бес ее за заставу повез кататься, в Парки, и задавили человека, а она со страху убежала. Ну, хорошо. Воротился барин, лица нет. Шварк ей ботик и сумочку, и давай пу-ши-ить, никогда не ругался так. Что же оказывается! Троечник показал в участке. Значит, велел бес гнать, что есть духу, а сам – Катичку щекотать! Она с испугу-то завизжала, троечник и оглянулся, чего это барин барышню забижает... солдат и подвернись тут под лошадей, – в голову ему оглоблей, волосья и сорвало с полголовы. Лошади понесли, да городской под коренника кинулся и повис, а то бы ускакали. Ну, в свистки, дворники набежали, а Катичка испугалась, выскочила, и ботик потеряла, и сумочку. Городской сказал – с гулящих барышнев не взыскиваем, с кавалера взыщем. А в сумочке письмо было с нашим адреском, в участке и разыскали нас. Вот барин горячился!..

«За гулящую уж принимают! Я и без того болен, – за бок себя схватил, – я, – кричит, – этому... – слово сказал про беса, не слыхано от него! – он известный на всю Москву!.. – опять то слово, по женской части, – я ему всю морду исполосую!..»

Катичка на коленки... – «Папочка, ради Бога не страми... он знаменитый...»

А барин разошелся, глаза не смотрят. Вот, кто он... знаменитый! – и опять то слово. Со стыда я сгорела. И барыня на него – не желаю слов! Барыню пихнул, убежал в кабинет. Какой уж сон, к ранней заблаговестили. Гляжу – барина шубы нет. Приезжает в десять часов – краше в гроб кладут. Выбежали к нему, а он и показывает перчатку, хорошая, замшевая, как рукавица, – рука у него огромная была:

«Нюхай, Катерина!.. – первый раз Катичку так, – по его похабной роже щелкнул!»

«С ума ты сошел!.. – так и взвизгнули, – такую знаменитость!..»

Он в них и швырнул перчатку:

«Лижите, дуры! теперь эта перчатка знаменитая!..»

Цельную неделю вздорились. А я так и подумала: Господь это Катичку уберег, через солдата. Посмирней она стала, и гад тот от нее отступился, барин-то пострашал. Одну беду отвело – другая. И тут все беды и пошли, до самого конца.

XVII

Под Николин день было. Наши в театры поехали, а я с Авдотьей Васильевной в Донской монастырь, ко всенощной. В одиннадцать воротились, и наши подъезжают, – рано что-то. Катичка – шубку шварк, побежала в зал, в темноте на роялях барабанить. А барин прилегли, устали. А она барабанит, она звонит!.. Сказала ей – ну, чего барабанишь, дала бы папочке отдохнуть. Как крышкой! – хлоп! – Мать-Пресвятая— Богородица!.. Барин вышли – «уймись, прошу тебя...» – будто застонул. А она, на весь-то дом... – «ах, надоели вы мне все!» – и убежала к себе. Барин с барыней стоят в столовой, барин бок потирает-морщится, и друг дружку упрашивают: «поди, успокой ее, узнай». А она заперлась. Ну, тихо стало. Пойду, думаю, послушаю, как она. Заскрипела полом, а она – «нянь, поди-и...» А дверь уж отперта. Села я к ней, а она зацапала меня, как маленькая, бывало, и затряслась. А я уж ее знаю – отплакаться ей надо, не тревожу. Отплакалась, оттряслась... слезки, как градинки, кру-упные, покатушки, – и глядит мне в глаза, спрашивает губками, а я все понимаю, чего спрашивает. Как горе у нас какое, маленькая когда была, мы все так играли. Я ей и пошептала бауточку: «дождик в тучки, солнышко нам в ручки!» Она и улыбнулась, горе свое поведала: Васеньку в театрах увидала! Офицер он, и медаль у него золотая, и он с палочкой, а под ручку с ним красавица такая... милосердая сестрица. И не поклонился даже. А барин ей и сказали: это, мол, известная графиня, из алистократов. Она расстроилась, и уехали из театров. Не стала я ее старым корить, сама сокола проморгала. А она и говорит: «это они мне насмех, хоро-шо-о!..»

Ну, вот. Хочу и хочу сестрой милосердой. Обучилась скоро, в нашем лазарете занималась. В первый ее лазарет приняли, и графиня там служила. Недельку походила – бросила. Гордячки там, графини да княгини, а я, мол, простая-смертная, докторова дочка только. Барин и узнал правду. Приезжает, да, шубы не сняв, по столу кулаком!..

«Теперь вижу, какая ты дрянь ничтожная!» – в голос закричал.

Барыня на него – «сам ты мразь ничтожный!» Барин на них с кулаками, исказился весь:

«В гроб вогнали! печенки от вас болят, подохну скоро!..» – и на диван повалился, застонул.

И головой закопался. Шуба на нем завернулась, нога из брюки высунулась, – как сейчас вижу. Раздели мы его. Первый раз тогда горячий пузырь ему к боку приложили, сил нет терпеть, боль очень. Барыня напугалась, стала его целовать, урковать, – нельзя так запускать... Приехали доктора – печень, говорят, опухши, вина много выпивал, воду велели пить.

А правда вот такая оказалась. В лазарете графиня та служила, за старшую. Обучала, понятно, как-то: принесите то, подайте это, – дело сурьезное. А Катичка балована, забрала в голову: графиня, мол, хорохорится над ней. А тут пришла бумага – графине на войну ехать. Катичка и скажи, на людях: «женихов ловить ездят туда!» А графиня только и сказала: «жаль мне вас, как плохо вы воспитаны». Это барину пуще ножа было. Катичка градусником тогда в нее швырнула и в обморок упала. Ну, ее и уволили. Разве приятно барину! Тут на нас самая беда и навалилась.

XVIII

Сретенье, никак, было. Была барыня на балу, для раненых старались, и много мороженого съела, и стало у ней воспаление, оба бока гнилой водой налило, в трубочки выпускали доктора. И уж ребрушки стали гнить, два ребрушка вынули, на волосочке от смерти была. Уж ей кислород дышать давали. Стала смерть приходить, она уж ее зачужала. Зачужала она смерть, стала причитать: «ничего я не видала, ничего не вкушала, а самое хорошее начинается». А уж царя сместили, самый-то хавос начался, жить бы да жить, а она помирает. Кислородом-то надышалась – такая блажная стала, страху на меня нагнала: так нечистый возля ее и ходит, слова непотребные велит. Другой помирает – покоряется, а она из себя выходит, проклинает. Ну, что мне делать, одна я при ней, уговариваю-утишаю. А уж все кверху ногами стало, все с лентами красными пошли по Москве ходить, песни поют... барина дома никогда нет, все заседания казенные, правителями-то стали. И он тоже вот какой бант себе приколот красным, дострасти рад. А домой приедет – на бок горячий пузырь все клал. Радость пришла, а у него болезнь злая. Все телеграмму из Петербурга ждал – управлять его позовут, – а его не зовут и не зовут. И операцию стали ему советовать. Да барыня-то чуть жива, хочется все глядеть, по их все вышло, а и дышать не может. Барин ей тоже бантик на кофточку приколот, а она лежит и плачет. Газету ей читал барин – какая счастливая жизнь открылась, все она так: «ах, хорошо! ах, замечательно-интересно!» – а поднять голову не может. А тут братец ее к нам пришел, Аполит, маленько выпимши, и супругу привел, портниху. И тоже с лентами. Дожили, говорит, до праздника, теперь все одинаки... давайте мириться, и вот моя супруга. Ну, раз такое дело, барин велел им чай пить остаться. Так при лентах и сели за самовар. А он уж высокую должность получил, все паровозы у него.

«Без меня, – говорит, – теперь никто ничего не может, все могу остановить сразу. И по всем дорогам могу ездить и вам могу билеты выправлять задаром, куда угодно».

И бумагу показал. Даже головой барин покачали. А доктора велели барыню в Крым везти. Аполит и пообещал в царском вагоне ее отправить, такая у него власть стала. А мне к Троице билет сулил. А портниха скромная такая, шепнула мне: «уж не знаю, куда нас вознесет, очень мы высоко поднялись, и Аполит Алексеич в министра хочет, очень я боюсь». Плакала даже. Это уж какой у кого характер. Аксюшка вон наша – «губернаторшей хочу быть!» – писарь ее смутил.

Ну, хорошо. А барыне совсем плохо. Сердце у меня изболелось за нее: ну, как мне ее приготовить? Пошла с Авдотьей Васильевной посоветоваться.

Прихожу в магазин, а она плачет – разливается. А у нас полицию все ловили. Всех жуликов-то повыпускали, они на полицию ножи и точили, натравливали охальников. Иду к Авдотье Васильевне, три дома от нас, а на моих глазах нашего городского и узнали! Он заслуженный был, весь в крестах, Бузаков фамилия. Храбрый такой, душегубов не боялся, а тут своих испугался. То хоронился, а стало потише – он и вышел поглядеть, знакомые шубу ему дали надеть, с барашковым воротником, – как всякий человек стал. Он высокий, шуба ему по колена, штаны гордовые и видать, синие. Его по штанам-то и схватили. Схватили – пистолет вот сюда поставили, трое бунтарей. Он на коленки встал, заплакал, стал на небо креститься: «братцы не губите душу, я такой же человек, русской, подначальный солдат!» Крикнула я на них – «к мировому вас, живодеров!» – они меня за ворот. А у нас судебный помощник жил, жуликов оправлял по суду, а тут за пристава стал, печатками все стучал. Он и отнял у живодеров: надо, говорит, шук ловить, а вы караса схватили. Отпустили, ничего. А барин в окошко видал, побоялся вступить. А, бывало, за лошадь заступались, выбегали.

Прихожу, Авдотья Васильевна плачет, за мужа опасается. А сам Головков к Троице укрылся. Трое молодцов, воруют, говорит, почем-зря, так вот и разоряют помаленьку. А при-

став новый, помощник-поверенный, что ни вечер, за закусками посылает, в долг все, а не дать нельзя, – власть, какая ни есть... да все дорогое требует: икры, мадеры, сыру ему швейцарского, сардинков... И еще бездомный приют открыл, а денег у него нет. Он сразу три приюта открыл. И развел он у нас во-ров!.. Как ночь – так и разденут в переулке. Даже и его самого раздели, и пистолет отняли.

Спросила ее, как бы барыню поправить, кончается. Она мне просвирку дала успенскую, телесные узы отверзает, на исход души, – в супец завместо сухарика крошить. И растревожила она меня, не сказать: уж она все заранее знала! А что вот останемся ни при чем. Каждый год в Оптину они ездили и в прошедшем году поехали. А старцев там не осталось уж, вывелись, один только пришлый старичок в овражке спасался. А как идти к нему, сон она видала. Лавка будто ихняя в дырках вся, и без кры-ши... и полным-то-полна мукой, и мука в дырья текет, и все растаскивают. И приходит в большой сарай. А там вроде как престол, а на престоле наш царь сидит, словно в ризе, а округ головы лампадки все, и лик у него темный... От страха и проснулась. Пошла к старичку, а он от нее отворотился, – «в дорогу, говорит, собирайся, все пусто будет, и снаружи, и внутри». И все. Ну, она и знала. Так мы и положили – в последнюю дорогу, помирать. Стали мы с ней плакать, она и говорит:

«А может, не про последнюю дорогу намекнул? У меня старинная книга есть, про судьбу, и вон что мне вычиталось, закладочкой я заложила».

И прочитала мне: «ноги твои спасут тебя». Вон как: ноги, значит, спасут, бе-ги. И я поантересовалась, мне-то чего выходит. А у нас недалеко гадалыщик жил, и к нему публика ездила. Только он повесился. А у него по ночам в азартные карты играли. Забрали гадальные книги в участок, пристав одну и продал Головкову. Старая-престарая, и черепа там, и гроб со свечами, – страшная очень книга, колдунская. А она хорошо грамоте умела, Авдотья-то Васильевна, – она и разобралась. Сказала я ей, какой я масти, и годов мне сколько, – она и отыскала про меня. И что же, барыня... выгадалось, как вылилось! А вот, значит... «пройдешь многие земли и царства... и на кораблях плыть будешь, и...» – чего только не на сказано! И огонь грозить будет, и пагуба, и свирепство, и же-ле-зо... а Господь сохранит. А ей – ноги твои спасут тебя. И что же, барыня... и ей ведь бежать пришлось! Ну, чисто вот мы в жмурки играем по белу-свету. Встретила ведь ее. Да только и поздороваться не пришлось, будто ветром нас разнесло.

Где это мы с Катичкой ехали? Мы в Париж поехали из Костантинополя, сквозь все земли, Катичка мудровала все. Нас венгерский цыган провожал. Мы в ресторане кушали, а он в Катичку и влюбись. Пошел нас на поезд проводить, чемоданчик понес, да с нами и увязался, покуда его бумаги уж не годились, на гитаре все нам играл. Где вот Дунай-то река... с красным перцем там все готовят, паприка называется. Едем мы в вагоне, станция. Глянула я в окошечко, кваску не продают ли лимонадного, изжога с паприки этой поднялась, пить до смерти хочу... А насупротив другой поезд стоит. Тронулся он, и наши вагоны застучали. Ма-тушки! В окошечке-то, гляжу, – Авдотья Васильевна моя! Так я и обмерла. «Ма-тушки-и, Авдоть-Ва...» – И она увидала, ручками так всплеснула... – «Ма-тушки-и... Дарь Сте...» – и нет ее, увез поезд.

Высунулись мы, друг дружке помотали... – кэ-эк меня за ворот ктой-то сзади! А это цыган венгерской, а то бы мне голову разбило, об столб об железный, шурхнуло по платочку даже. Ну, верно-то как, – желе-зо грозить будет! – выгадалось-то мне. Не прицепись к нам венгерской-то, жива бы не была, все Господь. Так и разъехались, скоро три года вот. И в черном вся, и худая-худая... уж не помер ли у ней кто? Советовали в газетах напечатать, разыскиваю, мол... а Катичка – нонче-завтра, так и не пропечатала. Да что вы, барыня! как же я вам буду благодарна, и заплатить у меня найдется. Значит, Дарья Степановна, Синицына по фамилии, я-то. А ее – Авдоть-Васильевна Головкова. На лавочку баринову, вот спасибо. Уж такая желанная, такая... сразу и разговорит...

XIX

Дала я барыне просвирки в супце, потише стала.

Лежит она во цветах, барин ей все возил, и слезки у ней текут. Я и говорю:

«Барыня, милая... надо бы вас исправить?..»

«Что ты городишь, как меня исправить?» – не вразумела.

«Поисповедались бы, приобщились, – говорю... – смилуется Господь».

«Опять ты свои глупости!..» – раздражительно так.

При конце уж, и тут не пожелала. Я и постращала, душу ее спасти:

«Надо бы, барыня... нехорошо я вас во сне видала».

Вот она затревожилась!..

«Как меня видала? что видала? Нет, не говори... – замахала на меня, дышать не может, – нет, скажи... все равно... как видала?..»

«Да в подвенечном, – говорю, – наряде, вас видала, и все будто на вас просветилось, всю видала. Лучше бы вам приготовиться...» – заплакала я даже, и она заплакала, как дите, захлюпала. А Катичка на меня:

«Дура, зачем глупостями мамочку тревожишь!»

Вот какое понятие. А уж от нее землей пахнет, земле она словно предалась. Да что, напротив судьбы хотела: вскочила раз – давай мне одеться!

«Я здоровая, покорю болезнь... хочу жить, хочу ходить!..»

Стала ей помогать. Надела платье зеленое, новое, а оно живое на ней, ерзает, как на мертвой. В зеркало погляделась – ахнула, давай с себя рвать. Упала на ковер, и кровь из нее, да хлестом! Доктора приехали, – в Крым везите. Стали мы ее в дорогу собирать, Аполит билет ей выправил дармовой, цельную комнату в вагоне, цари ездят. Принес ей билет и говорит:

«Плохо твое дело, Глафирочка. Отдай мне запонки с короной, графские наши, дедушкины. Все тебе попало, у меня и памяти не осталось».

Стала она ему резонить – да зачем тебе, ты от благородного роду отказался, ты уж сацалист стал, зачем тебе запонки? А он ей – продам, мне для делукрепления. А коронные были, тяжелые, больше рубля. Ну, пристал: отдай и отдай, я вам билет схлопотал, и праздник у нас такой... Вытербил он запонки. А тут увидел – в гостиной грамотка графова в рамочке висела: гусь стойком летит белый, и на гусе корона зубчиками, а по бокам сабли золотые, а в лапках грамотка у него с печатями. Уж так они дорожили этой картинкой, барыня сама пыль стирала. Аполит и вцепился: последний я нашего роду, по закону мое! И она уцепилась с барином, так и не отдали. Ну, дойдет дело...

В Крым уезжать, вот на прощанье и захотелось ей поглядеть, какая Москва стала. Усадили ее на автомобиль, в подушки, и меня барин посадил – помочь. Мы и катались. А весна, погода теплая, все гуляют, так пондравилось барыне, все-то ахала: «ах, дожили... воздух какой слободный». Приехали к Страстному, памятник-Пушкин где, – крикуны кричат, на памятник залезли. Народу – не подойти. Барыня и говорит барину – «скажи чего-нибудь, хочу тебя послушать, орателя». Барин и влез на Пушкина. А ему кричат – вон пошел! Стал кричать, а его за ноги и стащили, рукав порвали. Барыня – ах! – в оммок с ней. Я к людям – помогите, барыня моя помирает! – а там кричат – «ей давно пора, накаталась!» Она глазки открыла – «домой, няня... страшно...» Барин из давки вырвался, а у него одна цепочка мотается, часы-то срезали. Больше мы и не ездили.

XX

А у барина неприятности пошли, спирту у него украли много, в лазаретах, а уволить не смей. Пошел ихний служитель в казну жалованье получить на всех, а на Кузнецком Мосту сумку у него и отняли, под самым городовым, – новых наставили, с лентами, ноги замотаны, чистые петухи, и пользы никакой для тишины, самые дармоеды. А все чуть барина не за глотку: жалованье давай! Приехал – заплакал даже: да что же это, говорит, творится-то? Месяца не прошло – уж и житья не стало, все поползло.

Вот я плакала, как царя сместили. С Авдотьей Васильевной мы плакали. Каждый обидеть может, страху никакого не осталось. Одно утешение – в церкву сходишь. Все там по-прежнему, чистота, красота, и молитвы все старые, душевные, царя только перестали поминать. А я-то про себя читала, поминала.

Барыню в Крым везти. А она к Аксюше привыкла, с собой ее взять желала. А та спуталась с лазаретным писарьком, совсем изгадилась, – воровка и воровка. И вина ему волокет, и гостинцев, из белья стало пропадать... я на писарьке баринову рубашку признала, и носовые платки у него с нашей меткой. Да охальница, слова не скажи, от писаря набралась, на голове бант красный, – ну, не узнать Аксюшу. Набралась она слов, стала меня корить: «старый век, древний человек!» От писаря набралась. Стала я ее гнать, барыня велела, и она куда-то приписалась, в ихнюю в ливорюцию. И приходит к нам стриженная девка с сумкой, лихущая-разлихущая, стала кричать на барыню – извольте ей жалованья прибавить! а?! Она ворует, а ей – прибавить!! Да сумкой на нас – «кровь пьете!» Тыщу рублей сорвала, насилиу развязались.

Да что, ничего не понять. Поверенный-помощник, за пристава-то который, созвал всех дворников, – Амельян наш рассказывал. Пришел из участка, скушный: «Шабаш, сяду на лавочку, буду семечки лускать. Это что ж, теперь понарошку все! Согнал нас, за ручку поздоровался, никакого уважения. Мостовую, говорит, убирайте, граждане... а пачпортов не прописывайте, теперь всем полное доверие. Теперь, говорит, верного человека не узнать, все жулики гуляют». Так и сидел-сучал, подсолнушками забавлялся. Ну, пошло и пошло ползти. Гляжу, чего это солдатики на помойке, чисто в снежки играют? А они ушат макарон вывалили и шлепают друг в дружку: надоели ваши макароны! Кто в деревню уехал, из лазарета-то, а то папиросками стали торговать, калошами. А это три вагона жулики загнали на станции в тупичок и продавали по дешевке. У нас тогда все в новых калошах защеголяли.

Ну, в Крым барыню собрали, Катичка с ней поехала. Барин с ними сестрицу милосердную отпустил. Анна Ивановна ее звали. Душевная такая, и про святыни знала, про душу знала. Папаша у ней первый ученый был, а она себя обрекла. Поплакала я, простилась. Вижу – скоро, пожалуй, места искать придется, разорение подошло, и больные оба. А мне Авдотья Васильевна советовала все в монастырь уйти, – теперь покоя не будет. За полторы тысячки келейку купить, в Хотькове, и жить на спокойе да молиться. Хотела я у барыни попросить, – за ними у меня под две тыщи набралось, – да она на ладан уж дышала, так и не стала беспокоить. А она меня поцеловала-заплакала: «няничка, побереги Костика, одна у меня надежда на тебя».

XXI

Уж после Пасхи это, барыню мы отправили. У баринова приятеля дача хорошая была там, в Крыму, – он и дозволил у него жить. А барину операцию велели, а он – погожу да погожу, перемогался. И капризный стал, не по нем все. Обедать подам, чуть хлебнет, – горький суп, да чем вы меня кормите без барыни, и ножи воняют, и салфетка мышами пахнет... – и похудел, и почернел, узнать нельзя. Взгляну на него – нежилец и нежилец, глаза уж неживые стали, *туда* уж смотрят. Стала ему говорить – надо докторов слушаться, на операцию-то намекнула, а он только поморщился. У зеркалов все язык глядел, а то шею пощупает, а то за плечи себя потрогает. Все, бывало: «а что, сильно я похудел?» И спрашивать-то чего, слепому видно, кости-то исхудали даже. Говорю – одни лопатки торчат. «Да, – говорит, – плохо дело». И платье на нем, чисто на вешалке. Собрался на службу – воротился.

«Нет, кончился я, няня... дай-ка мне содовой».

Повернулся к стенке и содовую не стал пить. И ску-ушно у нас стало, чисто вот упокойник в доме. А у нас рыбки в аквариуме гуляли, любил их кормить барин. А тут и про рыбок давно забыл. Скажешь – «рыбок бы покормили, развлеклись... что вы с мыслями все сидите?» – «Какие уж мне рыбки, теперь все равно». А раз стоит у окна, глядит. Погода теплая, все гуляют, а ехали ломовые. А я окошки протираю. Вот он и говорит:

«Счастливые, ситный-то как едят!»

«Может, – говорю, – ситничка вам желается, схожу куплю?»

«Не до ситничка мне, завтра меня резать будут».

Я даже затряслась. А он мне – «все может случиться, я тебе укажу».

Повел меня в кабинет, показал бумаги какие взять, сколько денег осталось, и письмо барыне чтобы передать, случится что. А барыня наказывала, тревожное что, к Аполиту бы я сходила, а он напишет. Пошла я к нему, а жильцы, степенные такие люди, и говорят: «хотим вас остеречь, шайка у него собирается, страшные все ходят, ограбить, может, кого хотят». И бонбу у него видали, и пистолет. А его дома нет. Пошла я, а он мне у наших ворот попался. Сказала ему, письмо бы сестрице надо, а он – «не до ваших мне пустяков». Стала его корить: из хорошего семейства, а люди вон говорят – шайку завел. А он смеется:

«Не шайку, а цельную лохань! Что, хорошая теперь жизнь? Ну, вот что, нянька... мы крепкую власть поставим, будешь благодарить. Ты, – говорит, – настоящая-пролетушная, в трубу пролетела... – смехом все, – я тебе дом скоро подарю, только помалкивай».

Он всегда добрый был. Подумала я: может, они царя хотят поставить опять, на барина-то он сердчал. Спрашиваю его, зачем пришел. Говорит – по тебе соскучился, и письмо обещался написать. Поставила самовар, а он в столовой остался. А барин в кабинете задремали. Прихожу – Аполита нет. А он в гостиной, стоит – смеется. А на полу – грамотка, с гусем-то, в клочки изорвана. Я так и обомлела. А на стенке картоночка висит, кулак углем написан, – а он умел хорошо нарисовать, и лошадок рисовал, и цветочки, – да не простой кулак, а кукишку сует.

«Вот им, ихнее звание теперь!»

Вцепилась я в него, а барин и входит, спрашивает: что угодно? А тот на стенку и показал:

«Были гуси, а теперь без перьев!» – и ушел.

Ничего барин не сказал, только заморщился. Барыни-то знакомые?.. Нет, с болезнью уж все покончилось. Ну, цветы присылали, правда. Да приехала как-то иногородняя, красивая такая, модная. Как его увидала, так и попятилась. Посидела минутки две – ушла. Барин и говорит:

«Вот, заболел – никому и не нужен. Одна ты, няня, меня жалеешь. А меня и жалеть не за что».

«Каждого человека, – говорю, – жалеть надо».

Головой только покачал.

XXII

К Иверской я ходила, молилась все. Через неделю по телефону меня позвали в клиники. Операцию им сделали, и повеселели они маленько. Велели и им в Крым, там уж доправится. Три недели он в клиниках лежал, куда заживало, а я собирать их стала. Забрала бариновы бумаги, в чемоданы поклала все, и свой сундук захватила: оставь – раскрадут, порядку-то не стало. От казны денег нам исхлопотали. Народу понаехало в Москву, от страха, у нас с руками квартиру оторвали, за полгода заплатили. И приезжает вдруг Анна Ивановна, ее доктора из Крыма выписали, барина провожать. И все-то уж она знает про меня, барыня рассказала. Так мы с ней подружились, родные словно. И барин так ей обрадовался, так все ей: «свита моя почетная!» А у ней все медали, и плечико у ней прострелено, с ероплана стрела попала. Усадили нас в царский вагон, бархатное все, и всем белые постели, раскидные, удобно очень. С цветами нас провожали, в лентах, очень хорошо про нас говорили, оратели, хвалили нас. И провизии нанесли, – и курочку, и икорки зернистой, и кондитерский пирог, – прямо завалили. И нам двоих санитаров дали, и проводник был строгий, – время-то беспокойное, солдаты с войны бегли, июль-месяц.

Поехали мы – и по-шло. Что только на станциях творилось, ад чистый. Как станция, мы уж и припирались, а то не справиться. Барин лежит, им еще ходить нельзя было, а в окошки стучат, по крыше гремят, проломить грозятся, в двери ломаются, ругань, крик. Вломились в наш вагон – «бей бонбой в дверь!» А санитар у нас умный был – крикнул: «тут главный кабинет едет!» А может, и правда, барыня, – камитет, слова-то ихние... «Камитет главный едет!» Те – ура кричать стали. «Так бы, – говорят, – и сказали, что камитет едет!» Всю дорогу и отбивал нас. А то головы в окно к нам, а мы закусывали, и портвейна бутылка была, барина подкреплять, и цыплята жареные, и икорка... они бутылку выхватили, лапами в икру, и всякими-то словами!.. Ну, мука была нам ехать. Уж так барин ужасался... – «С ума сошли, отблагодарили нас за слободу!» Анна Ивановна все ему: «пожалейте себя, доктор... и их пожалейте», – добрая такая. А он – «звери, животные...» А она ему:

«не звери, я три года на войне была, они ангелы прямо были... это наш грех!» – заступалась все. Да ведь, барыня... как судить, темный народ... да вы, может, и правильно, грубияны, и жадные... так ведь высокой жизни она была, как все равно святая. Обидно, понятно, какие капиталы разорили... правильно говорите. А то раз вышла на станции, приходит и рассказывает, – человека при ней солдаты чуть не убили, помещика, она отняла – закричала: «есть на вас крест?» Они взяли ее под руки и к вагону привели, по медалям ее признали. А он котлетку ел, а солдат ему в тарелку плюнул, с того и пошло. Тарелкой по голове били. Жандара-то нет, а солдат полна станция.

Она тогда всю правду мне про баринову болезнь доверила, по секрету:

«Бедный, три месяца только ему жить осталось, скорый у него рак. Уж у него по всему месту пошло, не стали дорезать. А ему сказали – все вырезали, и показали даже, от другого взяли. Он и повеселел».

Очень жалела барина: хороший он, в Бога только не верит.

«Вы, нянюшка, может, уговорите его поговеть, он вас любит».

Мы его и приготавливали помаленьку. Попросит он почитать газетку, станет ему читать, а он расстроится, страшное там все пишут: «да что ж это творится-то!»

Она и скажет: «лучше я вам Евангелие почитаю». И начнет про Христа читать, душе-то и полегче. И питья успокоительного давала. В окошечко он глядит – радуется: «воздух какой, в лесочек бы!» Все говорил – «поправлюсь – по Волге проеду, теперь хорошая жизнь началась». А она везде бывала, все монастыри знала, все-то города зна-ла... и как осетрину ловят, ну все-то знала... за край света заходила, где солнца не бывает! Ее папаша все леригии учил,

она и верила хорошо. Так мы его и приготавливали помаленьку. Ночью, помню, лекарства он попросил, сонного. А в вагоне у нас – как днем. А это пожар горел. Кондуктор кипятку принес, говорит – мужики все именья жгут, а это спиртовой завод запалили. «Светлая, говорит, жизнь пошла, все лиминации зажигают». Барин уж попросил получше окошечко завесить.

XXIII

Приехали в Ялты. Дача – чисто дворец, цветы, деревья, невидано никогда, – корика-гвоздика, и лавровый лист, – прямо бери на кухню. Горы, глядеть страшно, татары там живут. А внизу море... ну, синее-рассинее, синька вот разведена, и конца нет. Потом всего я повидала, да смотреть неохота, как без причалу стали. Свое-то потеряли, на чужое чего смотреть. Будто нам испытание: теперь видите, как у Бога хорошо сотворено... и у вас было хорошо, а все вам мало, вот и жалейте.

И вправду, барыня. Турки, нехристи, а все у них есть. Я у турки жила, в Костантинополе, за детьми ходила. И сказки им сказывала, все они разумели. Спать уложу, покрещу, они и спят спокойно. Турочка молоденькая полюбила меня, оставляла жить у них. Главная она жена у турки была, кожами торговали. Закон у них такой: одна главная жена, а другие под ней, покоряются. Уж они меня сладостями кормили... и розановое варенье, и пастила липучая, и семечки в меду, и винны-ягоды, чего только душенька желает. И всяк день пироги с бараниной, на сале жарили, и рис миндальный, и... – ублажали, прямо. И жалованья прибавляли, так ценили. И турочки махонькие меня не отпускали, плакали. В баню меня свою водили, парилась я там. Как подумала, – а Катичка-то как же, да что я, продажная какая? – и не осталась. У своих жила – и жалованье не платили, а турки вон... Это уж в искушение мне было.

Мне особо комнатку отвели, в Крыму-то, из окошечка море видно, кораблики, а в саду и персики, и вабрикосы, и винограды, а жизнь наша чернаярасчерная. Барыню я и не узнала: истаяла, исчахла, былинки и былинки. Ходить уж слаба была, все на креслах лежала, на терасах. И все цветы в вазах, вся в цветах и лежала. И Катичку я не узнала, – задумчивая такая, с книжками все сидела. Это Анна Ивановна так оказала на нее, в разум приводила. Да что я вам скажу, барыня... заплакала я от радости, молиться Катичка моя стала, и Евангелие, гляжу, у ней на столике. А все Анна Ивановна. Она ей и про Васеньку поведала, а та его знает, Анна-то Ивановна.

Уж так барыня обрадовалась, барина увидела, – оба заплакали, так ручка об ручку и сидели, первые-то деньки. А больные, друг дружке и тяжелы стали. Барин первое время выходил на терасы, полежать. Тут он, а на другом краю барыня. Лежат и молчат. А я сижу и вяжу. А жарынь, кузнечики там свои, крымские, по-своему кричат, цыкают, погремущки словно в ушах, – цу-цу-цу... цу-цу-цу... – и задремешь, забудешься. Цу-цу-цу... цу-цу-цу... – вздрогнешь, а они лежат в креслах – живые упокойники. А то жить бы да жить, благодать такая.

А тут неприятность нам: небель опечатали в Москве, портной баринов опечатал. А то Аполит грозит: суд подыму, мамашины пять тыщ давайте. Хотела лисий ему салоп послать, барыня не позволила. А уж он живой большевик, писали нам, железную дорогу себе требует, – чего захотел! И еще, грехи стали открываться: барин пенсию своей какой-то давал, а тут перестал, она – судиться буду! Барыня стала кричать: вот куда деньги у нас валились! Чуть говорит, и у барина боли сильнее стали, качается-охаёт, а все старое подымают, не смиряются. Я молюсь – умири их, Господи, пошли конец скорый, непостыдный, а меня в свидетели тянут, всю я их жизнь видала. А она не знала, что барину помереть, вот и начнет:

«А, смерти моей ждешь, помру – сейчас и женишься на богачке? Ну, я тебе и в могиле не дам покою!»

Он руками от нее, от боли кривится:

«Дай мне покою. Гли... последние мои дни...» – а она свое:

«Не представляй, известный ты актерщик... – женишься на Подкаловой-богачке, она тебя оценит, хоть и дура она, и нос утиный!...»

Он и закричит, в голос:

«Дай мне яду лучше... Гос-поди!...»

Господа поминать уж стал. А потом жалко его ей станет, дотянется до него, на грудь припадет и давай рыдать. Анна Ивановна прямо мученица была. Схватится за голову – «ведь это живой ад! – скажет, не в себе. – Бога у них нет!» Про Бога им начнет, они и задремлют, утихомируются. А то барыня с ней заспорит. И смерть на носу, а она все кипит. И неверы, а любили про чудеса послушать, про исцеления. А Анна Ивановна все чудеса знала. Рассказывала им, как старец анженера с супругой от тигры остерег, – встретите, мол, тигру... Так они подивились! А как же, это уж всем известно, барыня, из клетки тигра ушла. Только-только вырвалась, никто и знать не знал. Старец и говорит: вот вам иконка, молитесь в пути, и *не тронет*. Они ничего не поняли, кто не тронет-то. Ну, поехали, а дорога песками, жарынь, лошади притомились. Супруга и говорит анженеру: «теленки в хлебах как прыгает высоко!» Пригляделись – видят, тигра, полосатая вся, к ним прямо! И не поймут, как тут тигра взялась. Они иконку достали, держали так вот, на тигру, – тигра допрыгала до них, поглядела, зевнула, – ка-ак сиганет от них... и пошла по ржам, дальше да дальше. Приехали они на станцию, а уж там телеграмму подали: убежала тигра, троих сожрала.

О смерти-то? Думать-то думала, а не готовилась, жить хотела. Бывало, вот начнет жаловаться-причитывать:

«Хочу жить, молодая я... Нянька до каких лет вон живет, – завидовать мне стала, а! – а я калека, не хочу... тьфу! проклиная!.. Почему с нами чуда не случается? Вранье все, Анна Ивановна сама смерти боится...»

А барин скоро и на терасы не стал проситься, ослаб. Стал себе шприц впускать, пузырек у него стоял, от боли. Анна Ивановна мне сказала, – можно бы для лучшего ухода в Москве оставить, а доктора подумали – лучше уж с барыней поживет, а сам-то он все просился, а спасти уж его нельзя. Как-то и говорит Анне Ивановне: «я все знаю, друзья меня порадовать хотели». И написал в Москву. Получил письмо, а я комнату прибирала. Опустил руку так, с письмом, и губы так скривил, горько. И говорит:

«Не оставляй, няня, Катичку, скоро она одна останется».

Стала ему говорить – даст Господь, еще и поживете, а он – «нет, месяца не проживу... не оставляй Катичку... и прости, няня, нас за все». Заплакала я на них. А ночью – я в комнатке спала рядом, а Анна Ивановна ушла к знакомым, и Катички нет, на балу была для раненых, – барин застонул, слышу. Юбку накинула, вошла к ним, спрашиваю, не потереть ли им бочок мазью.

«Очень боли, няня... – говорит, – колеса во мне с ножами, все режут, рвут. Побудь со мной, легче будет... страшно мне одному...»

Никогда не забуду. Ночь черная-черная, к сентябрю уж. Ветер с горы пошел, вой такой, деревья шумят, жуть прямо. Зажгла я лампу, села на кресла, к ним...

«Дай мне руку, – говорит, – легче мне так. Я сейчас сон видал... маму покойную видал, будто я в гимназию поступил, и мы с ней книжки новые пришли покупать и ранец, так было хорошо... я, – говорит, – все ранец гладил, кожей как пахнет, слышал... – так вот потянул носом, нюхает, – и сейчас слышу... давно-о было... и так мне радостно было, няня. А боль и разбудила, все и открылось. – Руку мне пожал ласково, и шепчет, про себя будто: – ах, мама моя... ах, жизнь моя... все, Дарюшка, прошло».

Я не поняла и говорю им: «и слава Богу, заснете, может».

«Нет, не боль, а... все прошло, жизнь прошла, яма одна осталась. И не было ничего, пылью все пролетело».

Стала я его утешать: «не гневите Бога, жили, барин, хорошо, нужды не знали, и Катичка у вас, сколько вам Господь всего дал. А вы лучше Богу помолитесь, попросите милости». Он поморщился, усы так поднялись, – бороду уж ему обстригли, и не брился давно, – страшный был, лицо с кулачок стало, узнать нельзя.

«Мне милости не будет, – говорит, – это ты, Дарьюшка, счастливая, у тебя Бог есть, а у меня ничего, я и молиться разучился... яма у меня тут, – на грудь показал, – дай мне шприц, ножи режут...»

Впустил себе яду сонного. Стал просить – Расскажи чего, я и засну. А я все слова забыла. Стала «Богородицу» говорить, он и заснул. Только уснул – слышу – «ай-ай-ай!..» – барыня кричит. Вскочила, побегла, а она, в халатике в белом, чисто смерть; на ковре сидит, а круг ее все письма расшвыряны, розовые, голубые... и в кулачке зажаты. Увидала меня, охнула, – и ткнулась головой в письма. Я ее подымать, а она, глаза – как у сумасшедшей...

«Вот какой, обманывал со шлюхами... и с каретницей жил...» – это вот, чья дача-то, докторова, у него супруга из богатой семьи, каретами торговали, – «с каретницей путался, к любовнице умирать послал... тьфу!..»

И давай по полу биться. Я ее уговариваю – в постелю вам надо... Вырвалась от меня, сгребла письма в охапку, побежала... – «я ему, прямо, в...» – кричит. Перехватила ее, она меня в грудь, исказилась вся. Я ей – «барыня, милая... ночь на дворе, барин только уснули, измучились...» Рвется от меня, бьется... – «Лгун, в гроб вогнал... Катичку по миру пустил...» И повалилась сразу, ослабела. А изо рта кровь, хлестом! – весь халатик ее, и на меня, и на шее у ней кровь. Я ее на спинку положила, не знаю, куда бежать. Побежала садовника будить, бегу к двери, – Катичка мне навстречу, с балу, в белом во всем, розаны на груди, и за ней двое молодчиков, офицера, в повязочках. Она мне – «чего у вас огня нет?» Увидала, страшная я какая, – а я растерзанная, и кровь на юбке... – крикнула: «что случилось? мамочка, папочка?..» Я ей, с перепугу-то, – «мамочка помирает!..» Она зашаталась, в обморок. Ее схватили. Я им – «за доктором скорей!» До утра с барыней возились, подушки давали с воздухом, – через день померла, отмаялась, крови из нее выхлестало много.

XXIV

А ведь это мой грех, неграмотная я. Барин какие бумаги указали забрать, я и забрала, как ехать нам. А письма в бумаги и попали. И забыл, не до того уж им было. Барыня ночью плохо спала, вот и дорылась. Как ее выносить, барин попросил на креслах его к ней подвинуть. Подняли его под руки, посмотрел на Глирочку свою, губами задрожал, – «вот и все», – только и продохнул. Воротились мы с кладбища, Катичка вошла в мамочкину спальню, упала на постелю головкой и отплакалась тут, одна. Да тихо, барин чтобы не слышал. Он после того три недели еще пожил, ужасно мучился. Вот как почувствовал он конец, велел позвать Катичку. И говорит:

«Одна у тебя няня остается...»

Без слез и говорить, барыня, не могу. Взял за ручку, через силу уж говорил:

«Она у тебя самая родная, ты ее почитай... она тебя не покинет, я ее просил. А ты прости, ничего у нас нет, все промотали...» – и заплакал.

Катичка ему руки целовать... – «папочка, милый...» – а он опять:

«Няню не забывай, она правильной нас, всех жалела...»

Ну, недостойна я, барыня, такого. Вот Катичка меня и не бросает. А Анна Ивановна желала, чтобы он исповедался-причастился и Катичку бы благословил, по закону. Понятно, грехи-то свои он все выболел, а надо покаяться. Намекала ему, а он ей сказал – надо в Бога верить, а то обман выходит. И я ему намекала, барыня. Он в тихой час чего же мне сказал!

«Что делать, куда Глирочка, туда и я».

Вот как хотите, так и думайте. Может, и вправду не хотелось ему от Глирочки своей отбиваться, тоже думал – плохо ей на том свете будет. Так и не исправился, отошел. А только вот что случилось.

За два дня было до кончины, к вечеру. Анна Ивановна Евангелие нам читала, а барин задремал, – только ему шприц впустили. Читала она, а я все плакала, – про Христово Воскресение читала. Барин и очнулся. А солнышко уж к закату, комната вся пунцовая, обои красные были, розаны все. Он вдруг и говорит, сла-бо так:

«Сколько свечей... хорошо как, Пасха... священники пели...»

Так мы и обмерли. Катичка склонилась к нему, а он шепчет:

«Они нас крестом крестили... «Христос Воскресе» пели. А где же они, ушли?...»

И на обои смотрит, на розаны. А на них солнышко, уж те-мное пунцовое. Анна Ивановна шепнула Катичке, Катичка и сказала, слезки проглотила:

«Да, папочка, ушли. Они нас благословили, вот так...»

И стала его крестить. Слезы у ней, и все она его крестит.

«И ты меня благослови, папочка... перекрести меня».

И встала на коленки. Анна Ивановна взяла иконку мою, Николы-Угодника, и подала Катичке. Катичка в руку ему вложила и головкой к нему припала.

«Благослови меня, папочка».

А он все на розаны глядит. И будто чего вспомнил! Повел глазами, чего-то словно ищет, рот перекосил, го-рько так, вот заплачет. Положил иконку ей на головку – и задремал. Долго Катичка не шелохнулась, разбудить боялась. С этого и затих, и боли кончились, – доктор все ему впрыскивал, а он все спал. А лицом че-рный стал, и тело чернеть все стало, – черный рак. Утром вошла я, а он холодный, ночью отошел.

XXV

Уж так-то парадно хоронили, сказать нельзя. И правители были, и цветы, и венки, и ленты красные – все его дела прописаны. Анна Ивановна со студентами хлопотала, а мы ничего не можем. Косматый один добивался все – не надо отпевать, отменено, сжечь надо! – Анна Ивановна его прогнала. А батюшка какую проповедь сказал, очень сочувственную, – дескать, упокойник слободы все хотел-пекся, вот и получил теперь полную слободу, самую главную... и дай Бог, говорит, и всем такую слободу. И кутьей помянули, и блинков я спекла, доктора кушали-хвалили. А косматого Анна Ивановна не пустила помянуть: «вы, говорит, упокойников жгете, вам и поминать нечего». Обиделся, блинков не пришлось поесть, шантрапа.

И наши хозяева приехали, доктор с каретницей. Уж пожилой, а она в полном соку, такая-то бой-баба, – сумашедчих они лечили. Знаете ее, и здоровый-то от нее с ума сойдет, а доктор, вроде как напуганный, что ли, чисто кисель трясучий, так все: «уж это я не знаю, как Треночка», – Матреной ее звали. На роялях сразу начала, после поминок-то. Анна Ивановна уж устыдила. Спасибо, скоро уехали, дозволили нам пожить. Стали и мы в Москву собираться, а у Катички этот вот сделался, вырезают теперь все... вот-вот, а-пен-децет. Операцию ей сделали. Только выходилась, графиня приехала, неприятность-то у ней с Катичкой была. Лечиться будто приехала, от ревматизма, грязью. Уж она вылечилась, Анна Ивановна ее к нам и привела. Ну, привела к нам, Катичка даже затряслась. А она к ней руки протянула, такая-то умильная... ну, они и поцеловались. Погодите, что будет-то... роман и роман страшный, так все и говорили. Не знали мы-то... Она постарше была, а тоже красавица, только болондиночка, глаза синие, а лик строгой, как на иконах пишут. А по фамилии Галочкина. А и то, пожалуй, спутала... Га-лицкая. И разочаровала-а она нас! У-мная, умней нет. И сядет и взглянет, – и что ж это такое, сразу видать, какого воспитания, гра-фского. С недельку повертелась – нет ее, укатила на войну. Потом уж мы узнали, Васеньку все разыскивала, не тут ли он. А Анна-то Ивановна нам сказала: «батюшки, да я Василька хорошо знаю!» Васильком на войне звали Васеньку, она за ним и ходила. А тут и Анна Ивановна уехала. А страшное стало время, большевики баринно правление согнали уж, стали офицеров убивать, всех грабить. Пришли к нам с ружьями, с пулями, – вот зарежут, самые-то отъявленные. Один матрос был, живой каторжник, золотая браслетка на кулаке, сорвал с какой-то. Диван проткнули, из озорства, бутылку вина забрали и баринов бинокль, да сапоги матрос взял. Мы, говорит, еще придем, примериваемся покуда. А мальчишка с ними был, вовсе сопливый, а тоже с пулями, на роялях пальцем потыкал и за себя записал. Я им говорю – к мировому подадим, а они меня насмех: «а завтра тебя и барышню казармы погоним мыть и ночевать оставим!» Так я и похолодела. А Катичка закусила губку да как топнет! Мальчишка и пистолет уронил. А матрос ухмыльнулся и говорит: «а пол-то не проломить, ножка махонькая!» Они бы нас, может, и растормошили, а тут садовник наш за себя все принял: «я, – говорит, – утруждающий, все вам уберегу». Они ему и подписали, для сохранности: скоро опять придем. А он был и большевик, и меньшевик, а жена у него глупая была, все нас ругала: «конец вам пришел, буржу-и!» А в церкву ходила, дура. А Яков Матвейич, садовник-то, гвардейский раньше солдат был, рослый, красивый, с проседью уж. И у них штаны были из белой кожи... как, говорит, в парад надевать, мочили их, и нипочем не надеть. Намочут, говорит, штаны, двое их держут, а он лезет на табурет и прямо – прыг в штаны сверху! – они его и поддержнут, так он в штаны-то и влепится. И жа-дный был, Богу все молился, большевики бы пришли. А у них дочка, прислуживала нам, Агашка, такая-то хитрущая была, все через жениха-телеграфиста знала, секреты все. А он к большевикам приписался и ее записал. Женились они и отобрали себе две комнаты наверху, с балконом, засвоевольничали. И садовник стал говорить – дача по закону теперь его. «Но я не гоню вас, не опасайтесь, а будете мне, вот меня утвердят, сколько-нибудь платить». Видим – никакого закона нет, и

мирового нет. А тут нам из Москвы бес письмо прислал – театры ставим, обязательно приезжайте, денег сколько угодно. Стали мы собираться. И я, правду сказать, рвалась: в Москве-то Авдотья Васильевна моя, и все святыни... и мировой, может, есть. Стала я укладочку собирать. Имущества у меня было, добришка всякого: шуба беличья была, салоп лисий, тальма эта вот, три шали хороших, две пары полсапожек, материи три куса... К марту месяцу было. А тут татары войну и подняли.

Ночью как пошли ре-зать, кто под руку попадется. У них и начальство объявилось, татарово. И стали они под султана подаваться. А матросы в Севастополе жировали, – татары сразу нас и покорили. Матросы прикатили с пушкой, как почали палить, татары все на горы побежали, в камни. Опять нас и отвоевали из-под татаров, все православные обрадовались, – не дают нас в обиду. Только отвоевали, не успели мы оглядеться, говорят, – какие-то зеленые на горах сидят, грабят. Ну, стали мы дожидаться, дороги-то поутихнут, в Москву-то ехать. Просыпаемся поутру, в апрель-месяце было, все зацвело, радоваться бы только, а нам Яков Матвеич и говорит: «поздравляю вас и нас, немцы нас ночью завоевали, пойдемте скорей глядеть». Гляжу – Агашка уж с дачи выбралась. Я еще ее спросила – «чего ж от чужого добра отказываешься?» А она глупая, – «немцы шутить не станут, мне муж велел». Пошли мы немцев глядеть. Невидано никогда, какая сила, и откуда только взялись. Все головы железные, и пеши, и верхом, и пушки, и ероплан шел, ни крику, ни... – только все звяк-звяк, все железом гремело. Так все и говорили: «теперь уж порядок будет». Ихний генерал так и велел сказать: «теперь уж так мы вас покорили, вам и беспокоиться нечего, и занимайтесь своим делом». Яков Матвеич даже сказал: «вот это-дак покорители, настоящая войско, как царская у нас гвардия была».

Пойдешь в город – гулянье и гулянье: музыка играет, немцы велели так, народу полно, и балы, и... Все богатые съехались, и рестораны, и верхом скачут, и ни одного-то большевика-матроса, чисто вот ветром сдуло. А жить уж нам плохо стало. Прибегает раз Катичка, кричит – в театры поступила, будут деньги. А Яков Матвеич страшит все: немцы весь Крым повывезли, скоро голод у нас начнется. Стала я припасать, материю продала татарке, мучки позапасла, маслица постного. А были слухи – не миновать немцам уходить, еще какие-то подымаются, вроде казаки. Тут карасинщик к Катичке и посватался.

XXVI

Фамилию-то забыла, барыня. Не Махтуров, а... вроде как заграничная. Приезжает как-то она на автомобиле, и барин с ней, весь в белом, а сам черный, сразу видать – буржуй из хорошего дома. Пять минут посидел – уехал.

Спрашивает Катичка – «все ухаживает за мной, ндравится тебе»? Будто ничего, глядеться. Говорит – миллиенщик, карасин продает. А нам, конечно, мужчину в дом нужно, на что лучше такой могущественный. Только его Курапетом звать, имя какое-то такое... И зачистил к нам, освоился. То фруктов привезет, то мороженого принесут из ресторана, – стараться стал. Ну, стал добиваться, замуж за него шла бы. А она – погодите да погодите, папа с мамой недавно померли. Раз прикатил, всходит на терасы. Что-то он, вижу, не в себе. Солидный, годам к сорока, а бегаёт из угла в угол. Не большевики ли, думаю, пришли? – что-то беспокойный. Вышла Катичка. Ну, не поверите, барыня, чего он у нас выделявал. Я уж и за Яков Матвеичем бежать хотела. А это он... запылал! Как брякнется, она от него. Он за ней на коленках, все брюки изъерзал, белые, взмок весь, зубами ляскает... – «не могу без тебя жить!» – на-ты ей стал. Потом выхватил пистолет, – «и тебя, и себя убью, не могу!» Она как завизжит – «бросьте пистолет!» – он и запустил в кусты. Ручку дала поцеловать, – «будьте умный и ждите». Шелковый стал, так им и вертела, как хотела. Раз ночью и говорит мне:

«Хоть ты и глупая, а папочка велел слушаться тебя... разве пойти за Курапета?»

Сказала – обдумай, нет ли кого по сердцу. Вот она рассердилась! А на другой день, примчалась на фаетоне, бежит по саду, зонтик в кусты, взбежала на терасы, сама не своя. Села в кресла, в себя глядится. Что такое?

«Попить дай, жарко. А знаешь, я Никандру Михайловича встретила, познакомили нас... Васенькина отца!»

Вон что. Приехал тоже. И цельный у него тут дворец. Карасинщик их познакомил. Вскорости приезжает с Курапетом, кричит – «нянь, сливошное мое давай!» А это любимое у ней платье было, муслиновое. И складненькая она, а в сливошном – как канфетка, залюбуешься. Переделась, розаны приколола, выбежала к нему... широкая шляпка у ней была, белая вся, – он так и вострепетал. А она мне – «прощай, нянюк, увозит меня Курапет Давыдыч!» И укатили. А я, правда, перепугалась: ну-ка, обвенчается без меня. Вечером прикатила, говорит – у Никандры Михайлыча была, и какой у него дворец... – «может, говорит, за невесту Курапета меня считает, с ним пригласил». С того дня совсем моя Катичка повеселела, карасинщик сыматься ее устроил на картинки, – вот-вот, снима эти. По горам ее возили, и в лодочке сымали, будто она на море тонула, а за это ей денежки давали, много. Очень старался карасинщик. Как-то из города прикатила, кричит:

«Скоро наши Москву возьмут, письмо получил Никандра Михайлыч!»

А карасинщику опять его карасин наши добровольцы у большевиков отбили, и он богаче прежнего стал, много карасину продал немцам, не то французам. И купил себе дачу новую. И приезжает. «Я, – говорит, – маленький подарок вам привез». И вынимает синюю бумагу. Что такое? А это казенная бумага, дачу ей подарил! Она – никак, не могу. А он ей – «а вот я помер, а вам и подают эту бумагу... а почему от живого не хотите?» Она – ни за что. Он и молит: «что я могу сделать для вас приятное?» Она так задумалась... – «вы молодой, а не воюетесь за Россию... сделайте для меня подвиг». Он так и законфузился. А она вытянулась на креслах, улыбается. «У меня, – говорит, Курапет-то, – сердце не в порядке». А она свое: «ну, тогда маленький подвиг, отдайте вашу дачу на лазарет... наши скоро сюда придут». Уехал, ни слова не сказал. Недели через две повез Катичку на дачу, а там уж лазарет. Приезжает она домой, кричит: «нянь, он добрый, он все для меня сделал! а я его в лобик поцеловала!» Вечером приезжает карасинщик, она ему на роялях поиграла. Стал прощаться: «еду, – говорит, – завтра

в Кеев, чего вам привезть?» Она ему и сказала: «кеевского варенья и самого себя». Как он воскричит: «я молюсь на вас!» Поглядел жалостливо так, вздохнул и уехал. И не приехал больше. Под Катеринославом, что ли, разбойники стрелять стали, сколько-то в поезде убили, и карасинщика нашего. А через месяц бумага нам, от нотариса, – дача та Катичке осталась. Так она и осталась там – и наша, и не наша.

XXVII

А к зиме немцы сразу и ушли в ночь, никто и не видал. А жить уж нам трудно стало. Катичка где сымалась, – дело прикончилось, карасинщика-то не стало. А тут заграничные и понаехали, на кораблях, большевиков будто выгонять. Народу набилось в Крым... – кто от большевиков укрылся, а кого и так занесло. У многих дачи какие были, и рояли, и бралиянты, золото-серебро, – заграничные вот и навалились, ску-пать. Такой-то базар пошел... а барыня-то, заграничных-то как хвалила!..

Соседка наша, муж у ней воевал, и четверо детей с ней, мужнины часы, царские, англичанину продала, с голоду. За две ихних белых бумажки вырвал, а часы с музыкой, тыщи рублей дать мало. И Катичку тоже обманули. Колечко у ней было, змейка. Головка у змеи из изумруда была, а спинка серого золота... от французской царицы то колечко, кресна ее от дедушки получила, высокой посол был. Этому колечку цены не было, старик один говорил, записано в книгу было. «Вам, – говорил, – французы милиен дадут!» Как налетели скупать, и старик тот прибежал, граф итальянский прогорелый. Привел морского, говорит – «скорей продавайте, цену пока дают... я прошибся, фальшивая змея ваша, у той головка была другая, глядите мою книгу». Тот и дал нам белую бумажку, сто рублей, по-нашему сказать. А потом узнали – морской старику много денег отвалил. Так и ограбили. А вот, видели ведь мы то колечко! В Париже здесь Катичка в окне признала, у старьевщика. Зашла, чего-чего не наставлено! И иконы наши, и царские врата, краденые, и кресты крестильные, всего-всего... – перышки-то наши как разлетелись, по всему белу-свету. А мы в Америку собирались, денег нам надавали дилехтора. Она тогда сколько денег мне попередавала, – купи то, шелковое платье купи, стыдно с тобой. А я все сберегла, у меня цельный пакет заграничных денег, кошелечек кожаный на груди, – на черный день все ей будет. Ну, признала свою змею, спрашивает старьевщика: «и где вы ее достали?» А тот – «этого не могу сказать». Понятно, про краденое не скажут. Почему? Он и заломил: с кого милиен, а с вас половинку. Так вот и грабили, на корабли волокли. Весь Крым и вытряхнули, за грош без денежки. По дачам рыщут, кто несет, кто везет, кто ковер волочет, кто шубу... и рояли, и небель всякую... – так все и говорили: «саранча-то налетела, и дачи скоро поволокут, гор только не стащить». Наши знакомые говорили: «они нас за людоедов считают, они все так людоедов обирают, по всему свету». Каждый день пароходы отходили, полным-полнехоньки.

Иду по набережной, а на мне хорошая шаль была, ренбурская, несу лисью буу продать, а меня заграничный матрос за буу остановил, а другой за шаль тянет, насили от них отбилась. Принесла Катичке буу, говорю – плохая лисичка, что ли... самые пустяки дают. Она и говорит: «сегодня к нам чай пить приедут англичаны, купят мою буу!» А я еще ей сказала – дак как же так, в гости назвались – и торговать? Она и заулыбалась, – чего-то, чую, надумала. Вечером, знакомые к нам, а тут и трое морских на фаэтоне прикатили, щеголи, в золотых тесемках, кровь с молоком. Стали пить чай с вареньем, а у нас большие портреты Катичкины стояли, даже с царской короной был, карасинщик все нам заказывал, – они и любовались, даже графией величали. Вот она и говорит:

«Хочу бедным деткам помочь, рояль отдать в хорошие руки, в Париж еду... недорого возьму».

И пошла на роялях поиграть. И им поиграть велела. Ну, один тоже поиграл-пошумел. А рояль большие тыщи стоила, каретничихи.

«За пятьдесят рублей отдам, и эту буу в придачу, от нас память».

Они враз и выхватили бумажники. Она ручками как всплеснет!.. Я еще подивилась, чего это бумажники все суют. А она изгибается – смеется, гости все вспоминали:

«Какие вы сочувственные... а как же я рояль на троих?.. – Схватила лисичку, кричит: – нянь, ножницы! Лисичку еще могу изрезать... – вырвала у меня ножницы, и раз-раз – на три хвоста буу! – А рояль-то как? Нешто по ножке каждому? а то – кто больше даст? или – жеребий кинуть?..»

И за деток благодарит, уж так хорошо представила, слезки на глазках даже: «а рояль-то как же? не могу я вам рояль...» – и ножницами все так, стрыгет словно. Они законфузились, бумажники убрали, а она им по кусочку лисички: «ну, хоть это вам от меня на память... как вы деткам помочь хотели, на грудь пришила». Они и не понимают, смеется или взаправду. Всем по хвостику и пришила, а она ей ручку поцеловали. И все у ней губка прыгает. Как бы, думаю, с ней плохо не было, – затопает и начнет рыдать, шибко когда расстроится. И давай рассказывать, как старушка пошла сегодня на набережную, а ее два дурака-матроса тоже купить хотели, вместе с платком и с этой вот лисичкой, насилу от них отбилась. И опять – нянь! Вытащили и давай вертеть. Со стыда я сгорела, чего это она меня на показ показывает, чисто вот цыган лошадь продает. Кричит им:

«Самая эта старушка, две копейки с платком за нее давали!»

Тут они поднялись все разом. А она вдогон им: «пожалуйста, не забывайте!» Больше уж они и не заявлялись. Да скоро и все корабли уплыли. Я уж чуяла – плохо будет, садовник завеселел, большевики подходят. Ему телеграфист-зять все по секрету сказывал.

К Благовещенью было, груши уж зацвели. Тихо так, хорошо по вечерам, тепло, все окна у нас открыты. Сижу я на терасах, слушаю, как скворцы на груше у нас свистят. А Яков Матвеич, как из-под земли вырос, и шепчет мне:

«Дарь-Степановна, в Крым вошли... завтра и у нас будут!»

Так у меня сердце и упало, бел-свет закрылся.

XXVIII

Стали мы мучку прятать. Садовник и то струхнул. А он жадный, вот он с мукой носился! в наши постели хотел насыпать, все уговаривал: «мы вами не брезговаем, простынькой накроем, и спите на нашей муке спокойно, у вас тело чистое, не пахнет». И смех, и грех. В винную бочку ссыпал и закопал, мука вся и провоняла. Ну, пришли, да очень-то себя не оказывали, боялись, взад не вошли бы добровольцы. Ждем, в город идти боимся, телеграфист все страшал – заарестуют. И привел к нам начальника на постой – дача у нас хорошая, все море видать. А сам с Агашкой опять наверх перебрался, на балконах сидеть. Ну, пришел начальник, ничего, годов двадцати пяти. Увидал Катичку и говорит:

«Я люблю образованных барышень, я сам образованный, учитель был».

Две комнаты забрал, с терасами, в бинок все глядел на море, – корабли, боялся, не подплывут ли. А и видом-то не видать: как все ограбили, и горюшка им мало. Обыски пошли, а к нам и не заявляются. Телеграфист все хвастал: я вас так защищаю! А Агашка все платье себе выпрашивала. Ну, дали ей, и шляпку старую, – только защищайте. А постоялец то сала нам кусок, то сахарку даст. Все себя выставлял: я образованный, уважаю барышнев. А Катичка его насмех: по-аглиски скажет, а он не понимает, и в музыку не умеет, и... ничего не умеет. Вбегает раз Катичка ко мне, губка у ней дрожит: «нянь-нянь, нахал подлость мне сказал, из комнаты не уходит!» Пошла я, а он сидит, ногти грызет. Стала ему выговаривать, а Катичка как топнет, – «вон ступайте!» Он и говорит: «я человек образованный, а то бы вас надо наказать... я хочу на вас пожениться, а не изнасиловать вас!» И пошел, сердитый. Что нам делать? Раньше бы гордого кликнул, или к мировому бы подал, а тут сами они суды судят. И телеграфист намекать стал, – вот бы барышня завертела товарища Якубенку, почет бы ей был! И садовничиха-дура все мне: «уговори барышню с ним пожить, он тогда всех нас в люди выведет, и ей дачу какую выберет, а эту мы за себя бы записали». Плюнула ей в глаза, а Якубенка проходу не дает: то ветчины, то рису, – чего только разыщет. Садовничиха и скажи: «с карасинщиком пожила – и дачу какую заслужила, а бедных гнушается... сколько бы всем добра-то сделала!» Уж я и отпела ей: слово одно сказала – на голову им и вышло, согрешила я, грешница: «ох, говорю, смотри... уж покарает вас Господь за жадность вашу!» И что бы вы думали, барыня! Поехал садовник за Кострому, землю записать за себя в деревне. Я еще отговаривала, а он жадный, – поеду и поеду, скоро обернусь. Так без мужчины и остались. Утром уехал, а к вечеру его назад привезли, на горе ему ногу прострелили. Покуда подобрали, он на земле все валялся, в грязи. Через два дня помер. Натянулся, как на струне, и всего его скрючило, кости даже трещали, жилы все лопались, так ломало, тугой и помер, от грязи заразился. Зарился – земли бы побольше, от земли и помер.

Только схоронили, Якубенка опять – выходите замуж за меня. Она и скажи:

«Я сирота, а бабушка моя вовсе дура, а мне надо посоветоваться. Есть у меня в Москве дядя...» – и такого человека назвала, не помню уж, – как вскочит Якубенка! – важного ихнего назвала, надоумил ее Господь, – «поеду-посоветуюсь, бумагу мне изготуйте».

Он нам сразу выдал, перепугался. А она больной притворилась, не может ехать. И приходит к нам матрос и еще один, вредный, рыло страшное. Поглядели-пошарили – пистолет и нашли, карасинщик какой забросил. Вредный и говорит: «я вас зарестую, к вам офицера ходили, враг вы наш». Катичка накричала на него, матрос даже похвалил: «разговорчивая барышня, таких нам надо». А вредный безобразить стал: «может, офицера по другому делу к вам ходили?» Она как топнет – «не смей меня оскорблять!» А тот – «а, храбрая вы птица, таких в клетку надо сажать!» Она ему – «попробуйте!» А тут и входит Якубенка, прогнал тех: «я, – говорит, – вас в обиду не дам». А это он нарочно тех подослал, власть свою чтобы доказать. А она смекнула, – давайте перо-бумагу, телеграмму дяденьке pošлю, как меня тут оби-

жают! Он, было, замялся, а она – «нет, я уж лучше сама поеду, вот поправлюсь». И стал он у ней по ниточке ходить. И про карасинщика ему все известно. Говорит раз: «я трудовой, за любовь дачами не могу платить, а чего добуду – всегда принесу». Ну, что с дурака-то взять! Приносит ей часики золотые, на руку. Она ему – «где достали, добыли?» – «На войне, – говорит, – отвоевал». Она его даже пожалела: «какой, – говорит, – вы добрый». Совести-то они не знают... Вон матрос с вредным приходил, – он на Пасху, видала я, свечи у заутрени ставил! – так он, глупый... – я ему говорю – «берите и меня с барышней, одну ее не отпущу, совести коль у вас нет...» – а он – «эх, мамаша мне тоже про совесть все лямкала – надоела! со-весть... из этого товару сапог не справишь, а дала бы мне лучше кожи на подметки!» Так и жили, как на огне. Я с Катичкой в одной комнате спала, припиралась. А Якубенка все по ночам кричал, дверь свою даже прострелил. А это его черти мучили. А дни пустые такие, только и думушки, да когда же перемен будет! А Якубенка проходу не дает: встанет перед Катичкой и скажет: «для вас весь свет переверну – не пожалею, любого могу убить!» И глаза страшные, му-утные, чисто у бешеной собаки. Только и молилась: Господи, пронеси!..

Праздник они затеяли, и стал он к Катичке приставать:

«Вы знаменитая артистка, езжайте на коляске, красную шапочку наденьте, и пику в руку возьмите, у вас лицо выдающее!»

Она не согласилась. Якубенка и говорит: «гнушаетесь нами, хоть на праздник поглядеть придите». Пошли с ней. Ребятишек с флагами прогнали, а потом рыбаки сети волокли, а за ними лодка на колесах, а там садовники с мотыгами, бутылку бумажную несли, ни к чему, а после коляска ехала, а на ней такая-то оторва-девка в красном колпаке; пикой все на народ пырляла, актерка одна, гулящая. Она потом, добровольцы пришли, в кокошнике ехала, в сарафане, Россию представляла. Глядим, а к нам и подскочил турка, в красной шапочке, с кисточкой. Без рубахи, грудь красная, мохнатая, парусиновые штаны болтаются, на ногах дощечки. Коверкается, чисто обезьяна страшная, орет: «Катерина Костинтиновна, вы ли это?!» Так я и обомлела: самый он! Да энтот, бес-то обсосанный, бил-то его покойный барин. Большевик и большевик расхлестанный. Ломается, чисто пьяный: «приехал дворец выбрать, артистам отдыхать, теперь уж не пушу вас, в Москву увезу!» Катичка еще его спросила, чего он такой грязный, раздерганный. А он, чисто мастеровой, мелет – мы все рабочие теперь, товарищи, полная слобода... Катичку потащил, штаны подергивает, ноги задирает, похабничает, стыд глядеть. И повадился к нам, до зари сидит и все любезничает: «сама судьба нас связала, небесная вы красота!» А Катичка сурьезная такая – подивилась я на нее, какая стала: «как вы постарели, плешивый стали, и ногти грязные...» И раньше-то неказист был, а теперь и совсем стал дохлый. А она уж всего повидала, уж не девчонка, – уважения-то к нему и нет. Пристал – в гости чтобы к нему, на дачу такую-то. А она и говорит: «это же дача генерала Коврова, как же вы в чужую дачу влезли?» А тот гогочет: «это, говорит, была генералова, а теперь – моя стала, мы все ломаем!» Стыд потерял. Вихлялся-вихлялся, как она крикнет: «вы с ума сошли!» Я и вышла к ним со щеткой, пол подметала. Она мне – «он меня обнимать вздумал!» Я ему и сказала: «барина нет, а то бы он вас перчаткой выгнал!» – смелости набралась. И она словами закидала. А тут и приходит Якубенка: «что вы так расшумелись?» А Катичка ему – «садитесь, милый Якубенка», – он так и растаял. А она бесу: «Якубенка приличней вас, он голову свою подставлял, а вы только примазываетесь», – истинный Бог! – «Завтра добровольцы придут, вы и перед ними будете плясать». Бес губы все кривил, и говорит: «о, какая вы стали, теперь вы уж настоящая... же-нщина!» – и на Якубенку подмигивает, бесстыжий. Катичка так и вспыхнула, огонь-порох! – «Слышите, Якубенка, он в чужую дачу залез и меня в гости зовет еще». А тот – «нам наплевать, только бы нам служили».

А Якубенка что-то сурьезный стал, с утра на море в трубу смотрит, трубу принес, и уж в городе ночевать стал. И говорит Катичке: «готовьтесь, через два дни уходим, только никому не рассказывайте, хоча вас поудобней в Москву к дяденьке отправить, дам вам знать». Вот мы обра-

довались! А садовничиха все пальцы лизала, с перепугу. Гляжу, зять прибежал, Агашка давай сверху опять перебираться. Я еще ей сказала: «чего опять спускаешься, ай жарко?» А она мне: «проклятушие кадеты одолевают, боюсь – разделка будет». Смотрим – солдат ихний со звездой записку принес, подводу Якубенка вечером пригонит. Катичка – сбирайся, няня, скорей! В овраг, кустами мы на виноградники, прибежали к знакомому татарину, кислое молоко нам носил. Он нас и повел, в самую-то глушь глухую, за овраги, в сараюшку, кругом ни души, табак там резали-сушили, два старика. Утром пришел, сказал – ушли лихие люди, казаки уж проскакали. Пришли на дачу, садовничиха нам – «чуть меня, – говорит, – Якубенка не застрелил, сам прискакал за вами, да поздно только». Стала просить – уж не серчайте на нас, не погубите. Побежали мы в город, а там уж молодчики наши, и пароходик дымит, и все на нем грязные, офицера все, матросов нет. А публика им ура кричит, намучились за два месяца. И лавочки пооткрывались, откуда взялось, а то и не было ничего. В церкви благовестят, на Пасхе словно, весело так... Катичка моя у мальчишки цветов купила, кинулась к офицеру, рука в повязке, а фуражка заломлена, отдала букетик. Он ей ручку поцеловал – заплакал. И мы заплакали. А с проулка кричат: «до смерти убился!» А это, узнали потом, садовничихи зять, из окошка выкинулся, с винной горячки, допился, а то со страху. И получил свой конец, как пес.

XXIX

Приходим домой, а в саду на ступеньке бес сидит с чемоданчиком, на себя непохож. Стал проситься – дозвоьте пожить, боюсь, за большевика примут, а то я рад, из ихнего ада вырвался. Пожалела Катичка, дозволила. Залез он наверх, три-дни не выходил. Уж турецкую шапку свою запрятал, сразу приличный стал и все на диване книжку читал. Не слышно его совсем. Катичка с утра в городе, а тот все дома. Скажу ему – все-таки человек: «может, поесть хотите, макаронov хоть сварю вам?» Поморгает-пошепчет – «сварите, будьте великодушны», наскоро поглатает, как собака, и опять в комнатку забьется. Опасался – ну, дознаются про него. И ночью не спал, у окошечка слушал, приметила я за ним. И дождался. Дня три прошло, приходят двое офицеров с пистолетами, и еще татарин с ружьем, и длинный у него нож за поясом. А это, сказывала садовничиха, Осман-татарин, у него брата большевики убили. Вот он и водил по дачам, где большевики стояли. А Катички дома не было. Ну, спрашивают меня, Якубенка у вас стоял? Стоял, насилиу Господь избавил. Говорю еще, нас все уважают, и генерал Ковров нас знает, а татарин нож теребит, не дает сказать, кричит: «к тебе человек приходил, турка одет, где он, собака?» А тот и выскочил, ура закричал! И давай всем руки трясти, и татарину, и благодарит, слезы даже. «Спасители наши, победа у нас!..» – и пошел плести, откуда что набирает. И такой-то он, и все его знают... а они его и не знают. Велели показать пачпорт, а у него нет, правильного-то. А татарин ножом на него: «самый вредный, турка ходил, дачи грабил!» Тот перепугался, губами задрожал, креститься стал, – «я православный, не турка, большевики меня силой заставили представлять», – совсем заврался. Офицера и говорят: идем, там разберем. Он в сле-зы... стал им чего-то про театры, розовую бумагу выхватил, на стены-то наклеивают. А они – идем, татарин его в спину кулаком. А тут Катичка, к ней он: «спасите меня, скажите слово!» А она губки поджала, ни слова! Татарин ему – «а, не знает тебя барышня, вредный ты!» Он опять: «одно ваше слово... артист я знаменитый...» Ну, покрыла его, покрывила душой, – приехал, мол, от большевиков уйти, артист знаменитый. А татарин и слушать не желает, до беса добирается: «и старушка хороший, и барышня, лазарет устроила, а этот самый вредный, дачи отымал!»

А тот серый стал, мышь-мышью, дрожьми-дрожит. Пожалела его Катичка: «поручусь за него, его и генерал Ковров знает». Татарин даже плюнул, сказал: «правды нет!» Чаем их угостили, и винца по станчику они выпили, устамши были. И бес маленько поотошел, шутки стал шутить-веселить, татарин даже смеялся. Обошел и обошел, как змей. Уж рад был, все Катичке руки целовал. И в город уж стал спускаться. А после знакомые и сказали, проспал бес и опоздал уехать. А может, и нарочно задержался, победы наши пошли, он к нам и перекинулся.

Недели не прошло, генерал Ковров из Костинтинополя приехал, Катичка его видала. Веселая прибежала, говорит, – в Костинтинополе на картинках ее видал... вот-вот, в снимках, – вон уж куда она попала! А это карасинщик ее снимал-устроивал. И победы у нас пошли, все телеграммы наклеивали, по три победы за день наклеивали. И наро-ду наехало, рестораны открылись, лавочки, вещами пробавлялись, жить-то надо, а денег нет. Харьков взяли, – стали говорить, скоро Москву возьмем, тогда все добро воротится. Уж так жировали... кто мылом заторговал, кто подметки скупает, артист один знакомый овсом торговать пустился, большой капитал нажил, на бралиянты выменивал, способный оказался. А богачи крупные дела делали, на кораблях все возили. Наторгуют капитал – и в заграницу уедут, на покой. Пришел, помню, офицерик к нам, вот богачей ругал! «Они, – говорит, – за нашими спинами карманы набивали, а у нас ни сапог, ни бельишка, яичко купить да фунт хлеба, только и жалованья нашего хватает». Мальчишка совсем, родителей растерял, грудь прострелена. Столько он говорил, кулаком стучал, плакал:

«Всю бы эту... – выругался, – всех бы богачей заспинных расстрелять, а деньги на армию, давно бы одолели большевиков! Мы в Ростове раздевши были, а они грош нам дали! ушли мы – все большевикам досталось. Мы, – говорит, – головы здесь положим, а толстошкурые в загранице кровь нашу прожирать будут».

Ну, известно, барыня, не все богачи такие. Катичка стала ему говорить: генерал, мол, Ковров большие капиталы на войну отдал, а в Костинтинополе всего закупил, и белья, и пороху, и пушек... и сын у него воюет. Офицерик так просветлел: «да я, говорит, его знаю, Василек это, полковник Ковров, герой известный, чуть матросы его не расстреляли, бомбой от них отбился». И он под его командой был, во льду шли вместе, вон как! Катичка до ночи его не отпускала, все он рассказывал, страсти всякие.

А тут к нам доктор с каретницей. Она полную штукатулку бралиантов привезла. Он помогать хотел, а она себе деньги забрала. Я слыхала, барыня, как они спорились. Он все: «хоть немножко помощи, мне стыдно в глаза смотреть, у нас много...» А она ему – «а сумашедчий дом пропал в Москве? ничего не дам!» А он ей: «да Треночка, мы русские, у меня душа болит». А она – «а у меня живот болит». А их наши добровольцы в Харькове спасли, они и приехали в Крым со своей штукатулкой. И ни грошика не дала. Загодя и уехали в Париж прямо. Доктор плакал – рассказывал: «в ноги кланяться надо героям нашим, мученики они!» Он, барыня, с ума сошел, от мыслей. И про Васеньку рассказал, как он его в Харькове на коне видал, с флагом, а рука пробита-повязана.

«Беспрерменно я вас, – говорит, – познакомлю, скоро он сюда будет, папашу повидать. Мы старые знакомые по Москве».

А Катичка смеется ему:

«Да мы тоже старые знакомые, еще когда десять годков мне было».

XXX

И надо же, барыня, чему быть-то! Вот, завтра приехать Васеньке, – телеграмма от него – задержался. Ну, генерал Ковров ждал так – и вот. Доктор наш пришел и говорит, – заслаб старик, год сыночка не видал, не ранен ли уж опять, задержался-то. А Катичка закусил губку и ушла из комнаты. А каретница еще рацеи читать пустилась: какие теперь гулянки, они теперь должны до Москвы добиваться, дело горячее. Тут Катичка вошла, услышала... чуть она в нее не плюнула! А скрепилась, сами-то из милости живем.

А Васенька вдруг и приезжает. Радость-то какая папаше-то, и слух был, Васеньку чуть не расстреляли. Сейчас его в ванную, а потом сели закусить, винца выпили, а потом и старик в ванную сел... как сел, так и помер сразу. С тем Васенька словно и приехал – похоронить.

Весь город на похоронах был, так все парадно было, и гроб из Севастополя привезли, уж трудно стало хороший гробок найти. Я и кутьи сварила, а то кому подумать, женского полу нет, а без кутьи-то как-то уж непорядок, все-таки душеньку помянуть-порадовать. Катичка в церкви только была, а я и на выносе была. Пришла в ихний дворец, лестница одна больше нашей дачи, и все цветы... гробу поклонилась, к ручке приложилась. Гляжу – Васенька, не узнать. Почернел, раздался, и сурьезный стоит, убитый. Я и говорю им – «здравствуйте, Василий Никандрыч, горе-то у вас какое». А он глядит, словно не узнает. А потом, глазами так вскинул... – «ня-ня, вы это?!» Обнял, в плечо поцеловал, и слезы у него. И я заплакала. И так-то мне его жалко стало. Я ему и сказала, спросту: «с Катичкой мы одни тут, у ней папаша с мамашей тоже скончались, сироты мы теперь». Так он словно обрадовался: «как, Катерина Костинтиновна одна здесь?» И не до нас ему, а я не удержалась, сказала: «опять уедете, может, нас навестите». Ни слова не сказал. Я не то, что бы зазывала, а... и его-то, сироту, жалко, и все-таки с одной мы стороны. Ну, Катичка была в церкви, а к нему не подошла, домой ушла. Травур у ней был, вот и пригодился. А я и на кладбище проводила, честь-честью, и кутьицы Васенька откушал на могилке. И все очень благодарили. Старушки там были... одна греческая старушка тоже похвалила мою кутю, только, говорит, надо бы орешками утыкать и миндальком, и вишенками из варенья кругом убраться, так по их вере полагается. А у нас, конечно, изюмцем больше убирают. И доктор наш помянул. И говорит Васеньке: «завтра обедать приезжайте». Прихожу домой, Катичка ко мне:

«Зачем тебя понесло по жаре таскаться? на поминки напрашивалась, блинов не видала?»

А я устала, молчу. А я еще в городе сказала – на кладбище пойду, проводить, и ничего она – ну, что ж, проводи. И кутю у меня видала. Молчу-переобуваюсь, а она все не отстает:

«Не позвали на поминки? Ах, бедная, устала, да в гору еще, пешком шла, не догадались, небось, на фаетон тебя посадить? А ты бы попросилась. Или не узнали тебя? А ты бы подошла, напомнила о себе... может, и посадили бы!»

Расстроила она меня. Говорю – плохого тут нет – за упокой души помолиться, покойника проводить, да еще знакомого человека. А нехорошо, как у живого в гостях была, а на кладбище не проводила. Нет, говорю, меня сам Василий Никандрыч узнал, сам меня и на фаетон усадил, и поцеловались с ним.

«А может, напросилась, сама влезла? – поперек мне. – Может, он тебя за кого другого принял? У него мысли в расстройстве, а ты под руку ему попала».

Плонула я – мели. Ушла. Приносит чайку с лимончиком.

«Отпейся-вздохни, бедная моя, устала... – лисичкой такой ко мне, – не пришлось на поминках чайку попить... ну, попей чайку».

Я ее вот как знаю. Уж так ей хочется, вижу, узнать все, а виду не подает. Не стала томить, сказала. И как просвирку ему подала, за упокой раба Божия Никандры, а то бы никто и не догадался вынуть, и кутьицы ему подала помянуть, и как он про нее спросил, очень обрадовался.

«Да что ты... у него отец помер, а он обрадовался!»

«И про адристу даже спросил! И наш барин пригласил его кушать завтра. А я еще раньше позвала его навестить нас, – одни мы, говорю, теперь... сиротка Катичка...»

Как закричит на меня: «кто тебе позволил его звать?! что ты, хозяйка здесь, меня спросила?!»

«Да чего ж тут такого, давно нас знает, и сирота. И чужих зовут, мысли разогнать, горе у кого какое».

«Да, может, он и не хотел заезжать, а ты его насильно зазвала?.. – так раскричалась на меня, – ну, что же он сказал?..»

«Беспрерывно, – говорит, – буду, я скоро уезжаю», – только и сказал.

XXXI

Значит, на другой день в травур свой Катичка оделась, очень к лицу ей он: личико у ней и в Крыму не загорело, бледненькая такая, слабенькая совсем, – сиротка и сиротка. К обеду время, легла Катичка на терасах, книжку взяла, велела мне белых розанов нарезать. Лежит вся в цветах, любит она покрасоваться.

Только прилегла, Васенька и приехал. Взошел на терасы – так и остановился! А она, чисто как королевна, и головка у ней будто заболела, бле-эднаяразбледная, лежит, слабеньким голоском ему – «ах, вы это... садитесь». Мы их и оставили одних. И обедал у нас, и чай пил, и ужинать остался. Вместе все по саду гуляли. Сразу и подружились, словно и не было ничего. Он у нас до часу ночи и просидел, и я не спала. Она его и провожать ходила, и потом он ее провожал, и опять по саду гуляли. В четвертом часу он от нас ушел, вот как. Заплакала я, как хорошо-то стало. Ушел он, а она на терасах все лежала. Заря уж, задремала я... Слышу, входит она ко мне, уж беленькая, ночная. Обняла меня, – «нянь-нянь, милая моя нянь... – давно такая ласковая не была, – сколько он всего вытерпел, мученик он...» Утром ра-но вскочила, запела, – давно не пела. Надела голубенькое, воздушное, – ну, девочка совсем, – побежала в сад. Все по капарисовой алейке гуляла, дорогу откуда видно. Только я подала кофий, он и всходит, а к обеду только обещался. И опять цельный день, все с нами. Так три-дни все и гуляли вместе. Влюбилась и влюбилась она в него. Ему ехать, а она не отпускает. Ну, уехал. Она мне и призналась – жених и невеста они теперь. А чего раньше было, – это, говорит, ошибка, он ее и не видал в теятрах, глаза у него ослабли от болезни. И про графиню сказала – она хорошая, милосердая сестра, за ним ходила. А он Катичку забыть не мог, а навязываться не смел. И портрет все Катичкин в медальоне носит, показывал ей даже.

Друг дружке они писали. А на войне опять плохо, Катичка все телеграммы бегала глядеть. А то пошла я ко всенощной, уж зима была, гляжу – стоит моя Катичка на коленках в уголку, так-то хорошо молится! – порадовалась я. Так до весны мы и томились. Катичка и говорит: «душа у меня за него болит, чего я тут сижу... там страдают... не могу я, не могу!» Все ее уговаривали, – «с ума сошли, они вот-вот сами сюда приедут, тиф там валит, сами погибнете, и его не разыщете». Нет, поеду. А меня не берет: «Пропаду – одна пропаду, куда тебе, в ад такой!» Уж собралась, – письмо от Васеньки, грязное, три недели трепалось. В Крым переедут, – написал. А тут стали говорить – добровольцы уж подъезжают, один у нас Крым остался. Сразу так все и повернулось, – нечистому сила-то дана! А что, барыня, думаете... и ему дается от Господа, восчувствовали чтобы, в разумение пришли бы. Тут богатые и стали уезжать, загодя. И каретница наша: нечего ждать, надо ехать. Доктор ни слова не мог поперек, она ему всю голову простучала: в заграницу и в заграницу! А у него уж в голове путаться стало, – сидит в уголку и плачет. И говорит мне: «няня, а ведь это мы, мы, мы...» Не поняла я. А он опять: «мы это, мы, мы, мы...» – значит, у него уж мозги замыкались. А она лихая, толстущая, ничто ее не берет. Все гвоздила:

«Скорей ехать, теперь все сумашедчий, после войны, вся заграница сумашедчая, нам не помогла... там мы опять больницу откроем, будем спокойно жить... я все загодя припасла, а с тобой, дураком, давно бы погибли!»

А в Москве у них больница своя была, сумашедчих они лечили, богатых все, им милиены сыпались. А денежки-то они давно в заграницу переслали, им сумашедчий какой-то сделал, вылечили они его. У него банки были, – хвастала она мне, – он и переслал, как вылечили-то хорошо, умный какой. И уехали, на хорошем пароходу, с цветами провожали, на свадьбе чисто. И что же, барыня... я ведь ее тут встрела! Иду я по базару, с Марфой Петровной, рыбку мы покупать ходили, наважку... очень я наважку люблю. А тут она не наважка, а мурлан называется, а дух маленько на наважку похожий, и не дорогая. Иду я по базару, какая-то с торговкой

ругается-кричит, так и чешет, лицо разду-то, красная вся, как пьяная. И одета плохо, какая-то словно сборная. А это она, каретница! И она меня узнала. Помер, говорит, мой супруг в сумасшедшем доме, а она ресторан думать открывать. А как же, говорю, сумасшедчий дом открывать хотели? Лопнул, говорит, тут французы перебивают шибко. А мне Марфа Петровна и говорит: она у нас в квартале известная скандалщица, ее все знают, муж от нее с ума сошел, и брали-янты она кому-то продать давала, содержателю своему, макре – называют тут так, коту – по-нашему, а он ушел с ними, она и ни при чем стала. Теперь, говорит, с огромным кабатчиком связалась, с французом, а он ее походя бьет, и днем, и ночью, очень она винцом балуется. Уж своего добила, ни капельки мне ее не жалко.

XXXII

Ну, уехали они, мы в голых стенах остались, распродала почем зря каретница все добро. Васенька тут и приезжает, на два денька только вырвался. А его в железный поезд поставили, в Севастополе собирали, воевать. Думали – через месяц и свадьбу справим. Он и мерочку уж с пальчика ее снял, колечко заказать. А графиня и прикатила. К нам прибежала, а у нас Васенька. Она их в саду застала. И невежа такая... с Катичкой ни слова, а ему кричит, как начальство: «проводите меня!» Лица на Катичке нет, прибежала на терасы, а тот провожать пошел. Катичка ему вслед: – «я вас жду!» А Васенька ей, уж из-за забора: «я сейчас». Часа три прошло – нет его. Катичка места не найдет, а уж и вечер, и не обедали мы, – приходит. Она ему – «долго вас задержали». Стал говорить – расстроена графиня, не мог оставить. Вскочила она – «настраивайте-ступайте свою графиню!» И заперлась у себя. Он ждал-ждал и говорит: «няня, успокойте ее, не могу я уйти так». Стала ей говорить – не откликается. Ушел он, чисто водой облитый. Приходит на другой день, на терасах ее застал. Как уж, – только будто поледили. Только разговорились, по саду гуляли... – графиня на фаетоне к нам! Не узнала я ее: разодета, вольная вся, а то скромно ходила, милосердное платьице только... а тут и надушилась, и шея голая, и юбка зад обтянула, и шляпка с какими-то торчками, такая лихая, разбитная... Прямо к Катичке, ласковая, веселая, так и разочаровала нас! Чуть не пляшет, стала говорить – уезжаю завтра, зашла проститься. «Поедьте верхом, хочу кутить!» Меня завертела, – «ах, какая вы чудесная, няня... у меня тоже няня была...» – все приятное говорила. И Катичка рада – уезжает-то она.

Живо сварганила, знакомых пригласила, татарин и лошадок привел, – это заранее она распорядилась. И бес прилетел с хлыстом. Узнать ее нельзя стало, до чего дерзкая. Куда и скромность ее девалась, так все за ней и ходят, очень она красивая, а тут как дама такого поведения... ну, мужчины ведь, известно. Я уж подумала – не пьяная ли она. Нет. Садиться им – велела татарину три бутылки шинпанского откупорить. Поздоровали ее с отъездом, и я пригубила, а она три бокальчика хлопнула, хоть бы что. А Васенька что-то невеселый, настороженный, все на нее глядел... А Катичка... развертелась, глазки горят, личико – ни кровинки. С бокальчиком к ней графиня, стукнула по бокальчику, выплеснула на юбку. А я думаю – ладно, только бы долой с шеи. Стали на лошадей садиться. Катичка хорошо умела, юбка у ней амазонская была; бес ей коленку свою подставил, прыгнуть. А графиня Васеньку кликнула помогать. Вспорхнула на лошадку, хлыстомхватила, – та на дыбы! По двору проскакала, все форсила. Поехали, поскакали. Потом мне Катичка рассказала, как дело было.

Графиня рядом с Васенькой ехала. Хлыст уронит и велит подымать. Заехали на горы, и ночь уж. Стали барашка жарить, сашлыки. И вина выпили. Выпили-закусили, графиня и давай шпильки пускать. Васенька с Катичкой сидел, кусочки ей на палочке подавал, графине и неприятно. А как выпила, невозможно уж стало слушать. Разнуздаясь, с хлыстом вскочила, и кричит из теми: «Ковров, ступайте ко мне!»

Татарин остерег – «барышня, тут место строгое, упадешь!» А там прорва, костей не соберешь. А Васенька не пошел. Стала кричать татарину – привести ее. Побежал, а она его хлыстом по лицу, так он с рубцом и воротился, – она, говорит, сумашедчая. Бес к ней побежал-вызвался, она и его ожгла, и опять: «полковник, извольте ко мне прийти!» Стали его просить – приведите ее. Ну, пошел за ней. Возня у них поднялась в кустах, он ее и привел, насильно. А у него карман вырван на курточке. А у ней шелковый рукав треснул, тело видать. И вся растрепана, не в себе. Ну, вина она запросила. И стали все говорить – домой пора. А она злая сидит, хлыст сломала. Выпила винца и говорит Васеньке: «подлый обманщик!» – и бац! – прямо в него из пистолета! Не попала. Опять – бац, бац, – Катичка и упала в обморок. А та, может, напугалась, – убила, мол! – да в кусты, а там овраг, она и ахнула туда, в прорву. Кинулись за ней, а

татарин остановил: костей не соберешь, вот там какая прорва. Насмерть убились, ее через два дни достали только.

XXXIII

А как же, суд был, допрашивали. Васенька доложил все – с графией они совсем сладились, сказал ей – Катичка его невеста, и она ничего. И устроила им похороны, со зла. А в сумочке записку для Катички нашли: «получите мои обноски!» Зло вот и положила. Письмо еще нашли, к сестре – кузине, католичка которая, хроменькая-горбатенькая, здесь живет. И написано сверху – переслать через полковника Коврова. Власти прочитали, печатями запечатали, Васеньке отдали. Катичка добиваться: чего она написала? А он ей – «не могу отпечатать». Она ему – «а, тайны у вас?» Он себя за голову хватал, – «как я смертное письмо могу?» Дал ей, а она швырнула. Зло и засело, как заноза. Ему ехать, а она его видеть не желает. Уехал, письма писал, она рвала. Приехал, плечо пробито. Говорю – плечо пробито. Допустила. Как ледышка, губка только дрожит. Он ей то-се, а она: «вы солгали». Да еще чего: «у вас любовь была!» Худой, глаза провалились, пошел – сказал мне: «вы ей взаместо матери, няня... скажите ей – чист я перед ней». На войну уехал. Три дня я Катички добивалась, – ни ела, ни пила, заперлась. Я уж в окошко к ней влезла – она без чувств. Две недели болела. Доложила я ей про Васеньку, стала она кричать, как мамочка-покойница: не могу жить, не буду жить! В лазарет поступила, косыночку надела – монашка и монашка. Плакала на нее, – худая-расхудая, одни глаза. Из лазарета придет – как мертвая сидит, на море глядит. Скажу ей: «Катичка, что ж меня ты забыла, словечка со мной не скажешь?» – «Я тебя не забыла, няня...» – ничего и не скажет. А денег у нас нет. И приходит к нам татарин, беса-то все хотел... и сует мне вот какую пачку денег. Говорит – барин Ковров велел, а барышне не сказывай. Говорю – без ее не могу. Он на стол швырнул и пошел: я, говорит, слово дал. А он у них в имении много годов жил, приверженный.

Ну, прибрала я деньги. А на базаре только и толков – большевики Крым возьмут. Все из рук валится, а садовничиха с Агашкой страшат: вот, скоро разделка будет! Агашка с паликмахером спуталась, стал ночевать ходить, волосатый, страшный, и пистолет у него. Опять наверх стала перетаскиваться, хвастала все: губернаторша скоро буду. А тут Катичка мне и говорит: «собери, няня, узелок мне... прошение я послала, на войну еду». Подкосила она меня. Стала проситься с ней... – «куда тебе, мне и одной-то не собразиться». Ушла она в лазарет, два дня не заявляется. Побежала к ней, а там сестры мне: поехала в Севастополь раненых принимать. И приходит на дачу офицерик. Катичка за ним ходила, и говорит – Катерина Константиновна что-то заболела, в Севастополе ее удержали, по телефону извещено. А он скромный такой, из ученых, как Васенька. Бедный был, бельишка не было, мы ему баринову рубашку дали, и покормим когда. А он стеснительный, обѣсть боялся. Ну, сказал, – у меня ноги отнялись. Он мне голову помочил, а поднять-то меня не в силах. Позвал садовничиху, а она еще на меня: «доплясалась перед дерьмом своим, – перед господами, мол, наплясалась, – вот и без ног». Ткнула меня на стульчик, – я, говорит, не доктор. А офицерик и говорит:

«Нешто можно с таким народом большевиков одолеть! нас горсточка, а таких большие милиены».

Неделю я лежала. А тут и Катичку привезли. Не тиф был, а грипп, за воспаление боялись. Друг за дружкой и походили мы.

Помню, октябрь на исходе был. Садовничиха прибегает, – «большевики Крым прорвали!» – пляшет, крестится, ведьма-ведьмой.

«Пришли родненькие наши, весь свет покорили, Агашка от паликмахера узнала, уж ему дано знать, никого не выпускать чтобы!..»

Погибель и погибель. Сказала Катичке. Села на постельке, бледная, мутно так поглядела... – «теперь, говорит, все равно». А я только вчера дров на зиму купила, на шелковую материю выменяла, – как же теперь с дровами-то? Тут страсти идут, а я с дровами. Глянула на

море, – чтой-то много как кораблей идет, никогда столько не было. Неуж, думаю, англичаны войску везут? А тут с соседней дачи Миша бежит, папаша у них офицер был, в городе служил, калечный, – кричит:

«Нян-Степановна, из города верховой, велел папаша к ночи выбираться, все уезжают!»

Так все и потемнело. А Миша кричит-пляшет:

«На кораблях поплывем! а то большевики всех порежут!»

До Катички добежала, кричу – скорей собираться, уж корабли пригнали, соседи выбирают. А она лежит, ни слова мне, – ну, чисто мертвая. А садовничиха в окно кричит: «большевики всех офицеров пожгли, всех с пушками захватили, паликмахер телеграмму показывал!» Ручками Катичка закрылась, – слова не могла добиться.

XXXIV

К соседям я, а барыня бежит по даче с детской рубашечкой, к груди прижимает. Хавос у них, чемоданы, корзинки, девочки с куклами бегают, она кричит – «скорей, наши на пароход садятся, большевики подходят!» А девочка варенья банку в чемодане раздавила, текет варенье, барыня руки порезала, девочки режут... – ну, какой тут совет спросить. Бегу домой, а на костылях офицерик наш, задохнулся, кричит – «Катерину Костинтиновну спасать!» Обрадовалась ему, повела к Катичке. Стал ее умолять. Она ему: «где полковник Ковров?» А он не знает. Идут, говорит, войска, на корабли. Он ее умолял!.. – «Вы не знаете, что в Ростове было, умоляю вас!» Она – никак! Он опять: доктора послали, велели вывезти, всем место будет, – она хоть бы словечко. Заковылял вниз, задохнулся, костылями машет. А с дороги уж слышно – автомобили гудят, подводы стучат, – у нас с заднего балкона сошу видно, – и пеши, и верхом, и на повозках, с узлами бегут, волы тянут, скрип-гам, конца не видно, чисто весь Крым поднялся. И не обедали мы, кусок в глотку не лезет. А садовничиха, гляжу, наши дрова к себе волокет. А я ей – «наши дрова, как ты так?!» – а она себе тащит, скалится. И Агашка уж сундук с паликмахером наверх волокут, да Катичкину блузку под мышку себе поддела, – живой разбой. Заплакала я, – дожили до чего, среди бела дня грабят. Соседи, смотрю, на подводу поклалась, поехали вниз, и солдатик хромой при них, и ихняя кошка с ними. Сердце во мне упало, – ой, страсти, идут на нас, бегут все, мы чего ж ожидаемся? Стала Катичку тормошить: приди в себя, Якубенку вспомни! Глядь, – вот я перепугалась! – верхом кто-то, через палисадник перестегнул, по кустам, по клунбам, на терасы чуть не вскочил, лошадь так на дыбы! А это татарин, деньги-то мне всучил. Зубами щелкает, коня лупцует, как демон страшный. Кричит, плеткой грозит – «барышню зови!» – выругал черным словом. И Катичка выбежала на шум... «Что вам нужно?» – кричит татарину.

«Начальник приказал на пароход вам садиться, живо! – кричит на нее, плеткой машет. – За офицерами ходили, записаны у красных, плохо вам! Сейчас уезжайте, я слово дал!»

Она ему свое: «где полковник Ковров?» А он не знает. Воюет, говорит. Коня поднял, пуше закричал:

«Силой вас заберу, приказ мне, головой отвечаю... я слово дал!»

Стала и она кричать:

«Кто мог приказать? Нет у меня начальников!»

«Полковник Ковров велел! Я ему слово дал!»

«Где он?» – опять все свое. А тот свое:

«Этого не могу знать. Прорвались большевики, комендант депешу получил. Я слово дал, к ночи подводу пригоню, будьте готовы! – и пакет вынул. – Вам денег велено передать на дорогу, я слово дал!...»

Она не берет. Он тогда на ступеньку бросил. Глядь – садовничиха вертится, на деньги зарится. Не успела поднять, как он ее по спине плеткой щелкнул, она в голос. Мигнул мне – возьми. Подобрала я пакет. А Катичка – «где полковник Ковров?»

«Бог знает! – крикнул, как сумашедчий, – уцелел – уедет!»

Катичка закрылась ручками и пошла к себе. А татарин опять свое: «подводу пригоню, я слово дал!» – и через забор сиганул.

Пошла к Катичке, – она лежит, в потолок глядит. Спрашиваю – собираться будем? Ни слова. А тут паликмахер прибежал, чего-то посушукался. Садовничиха ко мне. Ласковая такая, выпрашивает, едем ай не едем. Сказала: приказ писан, кто останется – тому место хорошее дадут, а кто поедет, корабли порохом взорвут. Пошла – под кофту себе Катичкин пуховой платок сунула. Догнала я ее, отбила. А паликмахер уселся в саду, – похоже, караулит. Стало темнеть – подвода заскрипела, и татарин тот, с ружьем, на коне. Гляжу – паликмахер в кусты

шмыгнул, а татарин за ним, с гиком: «я тебя найду, черта!» И говорит мне: «этот сволочь самый вредный, зачем к вам в сады ходит?» Сказала – Агашкин сожитель это. Он и говорит: «уезжайте, уйдут добровольцы – вам не жить». Сказала Катичке, она мне: спроси, где полковник Ковров. А он все не знает. Так мы и не поехали. Уж татарин кричал-кричал, ругался, – никак. Щелкнул коня, взвил на дыбы, – «ну, Бог судит... я слово дал – ваша воля!» – умчал.

XXXV

Ну, думаю, на погибель остаемся. Взмолилась я Николе-Угоднику: вразуми-укрой, батюшка, проводи невредимо! Уж так я плакала, барыня, никогда так не плакала. Темный образок мой, а тут будто как ясный стал, будто живого сквозь слезы увидала. И как-то слободно на сердце стало. Ну, спокойна, нельзя спокойней. Буди Его святая воля.

А ночь све-этлая, месяц вышел. И тихо так, – то ветры были, а тут и листика не слышать. И видно с дачи, как по морю огоньки идут, далеко уж. И гомон с городу слышно, и уж стреляют где-то. А по соше подводы за подводами, всю ночь гремели. С Катичкой я легла, не раздевалась. Бредила она все, душу мне истомила. Забылась я маленько... и сон я какой видала!.. Обязательно сказать надо... светать уж стало, чуть засинело, – Катичка за плечо меня: «нянь, убили его...» Вскочила я, не разобрала, – здесь кого-то убили? Ка-ак в стеклянную дверь с терасов стукнуть!.. – руки-ноги похолодели. Раз-раз! Катичка на постели села, за грудь схватилась, сердечко у ней – тук-тук... слышно даже. Опять – бац! Кинулась я к терасам, – Мать-Пресвятая-Богородица... страшный кто-то с ружьем стоит, мохнатый, и дверь трясет: «да отпирайте же, черрт!..» – черным словом, грозно так выругался, и стекла вылетели. Я – ай-ай, а это Васенька! Не узнала и голосу его. А он в этой, в мохнатой... да, в бурке, окликнул меня – «это я, няня!» Вбежал с пистолетом, за спиной ружье, под буркой, торчком. Лампу засветила, Катичка – ай! А он – как чужой, глаза страшные, пыльный, лика не видать. Катичка стоит в халатике, за двери ухватилась, а он – кричать:

«Почему не уехали? Последние мы проходим, завтра красные войдут, я своих бросил! сейчас же собирайтесь!..»

Катичка глазам не верит, не может вымолвить. А он ей:

«Что вы делаете, зачем? Осман мне навстречу выскакал, на дорогах искал меня! почему не уезжаете?!»

А она – как окаменела. Стукнул ружьем, с плеча у него упало, за руку ее схватил:

«Остаетесь? Знайте, вас я им не оставлю! Живым не дам, и вас им живую не отдам!»

Она к нему ручки протянула.

«Нет, не останусь...» – только и сказала. Он ее подхватил, шибко она ослабла.

«Няня, – кричит, – самое нужное возьмите, сейчас подвода с Османом, посадит вас на пароход, бумаги у него. А я на Севастополь, к своим... – и опять, к Катичке: – Умоляю вас, дайте мне слово, я буду спокоен... найду вас, дайте слово, умоляю!..»

Она ему чуть слышно – «даю». И ручку протянула, и поцеловал он ручку. И поскакал, конь в саду у него стоял. Выбегла она на терасы, поглядела, как он помчал, и покрестила его. Вбежала, упала на коленки, молиться стала, заплакала. Обхватила меня, зацеловала, схватила Евангелие, – Анны Ивановны, папочка с ним скончался, – к грудке себе прижала ... – «скорей, няничка, ничего не надо, только скорей, скорей...» Как так, ничего не надо, Агашке-то оставлять? Силы Господь дал, я в укладку свою да в два чемодана всего поклала... докторовы сапоги даже забрала – встретим и отдадим. И все ее патреты уложила, и яичек сварила, и маслица постного две бутылки забрала, и мучки с пудик отсыпала. Больше пуда пришлось оставить, вот я жалела как. Барыня, милая... да как же я не догадалась-то?! да мне бы все татарину тому подарить! Месяцу молится, а верный-то какой. Ведь он в рай попадет, в ра-ай... и спрашивать не будут, какой веры. Голову свою за нас клал. Да без него бы, может, и в живых-то нас не было. Ну, вот, возьмите... татарин, а и у него совесть есть. Только до месяца мог понять, а если бы он да Христа-то знал, в святые бы попал. Сколько я того татарина поминала, всегда за него молюсь. Просвирку, понятно, не вынешь за него, святого имя такого нет, Осман-то, – больше собак так кличут, – а за его здоровье, если жив, ем – поминаю. Все забрала, и весь ее гардероб, и белье все грязное забрала, а она все по даче тормошилась. Дров как мне было

жалко, хорошие такие, сухие-дубовые... материю какую выменяла – не поносила. Уж Агашка-змея вертелась-завистовала, и садовничиха-ехида, упрашивали подарить то-се, – ничего им не подарила, окромя дров, да мучки, да сушеных груш у меня было с пудик, да камсы оставила фунта три соленой. Вот, говорю, дача остается, грызите ее, у вас зубы жадные, грызите. А они лаются на меня: «грабители, все от нас забираете, для чужих!» – из рук рвут-выхватывают, я уж татаринoм пригрозила. Только успела увязать, – татарин и подкатил с подводой. Ни слова не сказал, забрал с парнишкой наше добро, нас усадил, – покатали мы с горы. А внизу уж к ранней благовестят. И на башенке на белой ихний татарин молитвы свои кричит, звонко так, и петушки поют... – будто и страху нет. Господне дело, страху оно не знает. И как же мне захотелось в церкву зайти, в последний разок помолиться. Думалось, – и церкви там нашей нет, куда завезут, – не знала ничего.

А сон я видала, барыня... как ехали мы с горы, я и вспомнила про сон-то, про раков этих страшенных. А вот.

XXXVI

Поехали мы с горы, а там кусты, глухое место, – кто-то по нам и выстрелил! Лошади-то шарахнулись, в канаву и свалили. Татарин наш скок в кусты – бац, бац! – пальба пошла. Сидим в канаве, лошадь одна храпит, из шеи у ней кровь. Садовничиха бежит с Агашкой, как воронье, – кричит: «я вам говорила, Бог вас и наказал!» Из проулка выбегли какие-то старики, ахают. А тут татарин наш, из кустов, кричит старикам: «большевик коня убил, нас хотел, а теперь сам падал!» А это паликмахера он ухлопал. Кричит еще: «закон теперь нет, сами будем закон делать!» А садовничиха с Агашкой вой подняли: «зятя нашего убил татарин!» А тут с палками бегут, дела не разобрали, кричат – «татарин русских убил!» Татарин ружьем пригрозил, зубами заскрипел, – так и шарахнулись. Что нам делать! Татарин кричит – «коней нет, бросайте добро, за мной, на пароход!» Садовничиха за чемодан схватилась, а нам только бы ноги унести. Бросили добро, только чуть отошли... и глаза не верят! – офицерик на костылях к нам, и ружье с ним, задохнулся, и еще два мальчишки, тележку катят. И кричит он: «от Красного Креста велено Катерину Костинтиновну вывезти!» Ну, Бог послал. Лазарет вчера еще уехал, а офицерик отписался и схлопотал. «Я, – говорит, – клятву дал, все раненные просили барышню Вышгородскую вывезти!» Поклали все на тележку, покатали с горы, пеши мы пошли, а татарин нас охранял, сбоку ехал. Так из-под смерти и ушли. А сон мне такой привиделся.

Иду будто я по полю. А поле – глина одна, склизкая-склизкая, и будто там топь, под глиной, дрожит земля. Гляжу – все кругом ямки, как вот пролуби пробивают, полны водой черной, вот через край плеснет, и что-то возится там, вылазит. Пригляделась, – в каждой пролуби огромные, черные, головастые, чисто раки как страшенные, пучеглазые, лапами выгребаются на глину, усищами водят, ищут. Бегу – себя не помню, вот меня за ноги ухватят. Куда ни гляжу – все раки эти страшенные, стерегут. Сигаю через ямки, чуть тропочку видать, и под ней будто колупаются, чисто вот наклевушек, цыпленок в яичко тюкает. И будто впереди церковь наша, Козьмодемьянская. И Катичка со мной, и голосок ее слышу – «няничка, выведи, спаси!» А я будто не я, а девчонка Дашка, гуси у меня за реку в огороды ушли, бегу за ними... схватила за руку Катичку, будто моя подружка, а тут овраг. А наши мужики, в новых полушубках, через овраг мост мостят, хорошие такие бревна, свежие, – кричат нам – «переходи, не бойся!» Катичка меня тут и разбудила, закричала. Вы, может, не верите, барыня, а я верю: намостят, барыня, мужики! Мне-то не дожить, Дашкой-то видала себя... душенька это моя увидит, – овраг перейдет по мосту, намостят мужики дорожку.

Небось, барыня, видали все, как от большевиков на пароходы убегали. Не видали. И хорошо, что не видали. Да, загоя вы уехали, вон как... по билету даже. А, с Батума ехали, вон как вы хорошо. Господь дал. В ка-ю-те ехали... ишь как хорошо, с удобствами. Да-да-да, причувствие имели... ишь ты, как хорошо. Катичка знакомых встретила здесь, так они когда еще перебежали, мы, говорят, раньше причувствовали. И хороший у них дом тут, совсем к границе приписались. Есть – и без горя обошлись, как кому тоже повезет. Да я не осужаю, барыня, и хорошие люди есть... вы вон скромно живете, барин в лавочке трудится. А я по своему глупому уму чего думала... Приедут на чужую сторону, и сирот подберут, и старых, и калек, в одно все и соберутся... да и со всего свету нам помогут. А тут вон работать уж не позволяют, прогоняют. Повидала, всего я повидала.

XXXVII

Пришли мы вниз. На-ро-ду!.. вся набережная завалена, узлы, корзины, горой навалено, детишки сверху сидят, напужены. Все с бумажками тычутся, офицера с ног сбились, раненные больше, бумаги смотрят, куда-то посылают. А им кричат: «выехали все, не оставьте нас на погибель!» Офицера уговаривают-кричат: «всех заберут, еще пароход будет!» А публика не верит, друг дружку дают, офицерики все кричат, в растяжечку так, успокоить бы: «спокойствие! спокойствие! все уедут, войска не помешает, она на Севастополе садится». Бабочка одна как убивалась, чернобровенькая, с ребеночком... – «ох, мамочки мои, да иде ж мой-то, мой-то иде ж?» Казака своего разыскивала, а его вчера еще с лазаретом погрузили, а она в городе не была. Ну, взяли. Да много так, растерялись – не сыщутся. А то стали кричать:

«Заграничные пароходов не дают, министры приказали никого не увозить!»

Вот крик поднялся, министры-то не слышали. И правда, барыня, хотели нас большевикам оставить. А морской генерал ихний, как получил такую бумагу, стукнул кулаком и по всем местам приказал – все корабли на Крым гнать! «Я, – говорит, – последний человек буду, ежели послушаюсь, а я совесть еще не потерял». И пригнал корабли. А то бы мы все погибли. Молюсь за него, имя только его не знаю, да Господь уж знает: «о здравии морского генерала, пошли ему, Господи, здоровья, в делах успеха!» А его за то министры со службы выгнали. Как узнали – оставят нас, – такое пошло, вспомнить страшно. Стали кричать – «убийцы, людоеды!.. хриstopродавцы!..» Офицера вскочили на ящики, и капитан в трубу закричал, всему городу было слышно: «спокойствие! все уедут! корабли идут!» Значит, все велел корабли давать. А народу все больше, на волах скарб везут, а им кричат: «бросайте добро, людей не поместим!» Женщины на узлы упали, умоляют: «дозвольте взять, с голоду помрем... знаем мы заграничных, как они обирали нас...» Татарин наш с бумагой прискакал, а к нему не пройти, давка, а он нам бумагой машет. Ну, добились до него. Офицерик и говорит, на костылях-то: «садитесь, вам пропуск от Красного Креста, вам в первую голову, больная вы сестра с бабушкой». А она – ни за что, пусть детишек наперед сажают. До темной ночи все мы на берегу, в давке, с раннего утра. Подходит наш татарин:

«Говорите правду, уедете на корабле?» Все он ждал-сторожил. Говорим – уедем беспрменно. Стал прощаться, – «мне, говорит, по своему делу надо». Сказала Катичка только: «милый, Осман...» – и заплакала. Он ее по плечу погладил – «уезжай, барышня, живи... полковнику нашему скажи – в горы Осман ушел, помнить будет». И мне сказал: «и ты, бабушка хороший, прощай». Заплакала на него. Ружье при нем, пошел-зашагал, пропал. Ах, какой верный человек, до месяца дошел только, а лучше другого православного. Старушка на глазах закачалась – померла, от сердца. Внучек все кричал: «бабушка, подыми-ись!» Чего только не видали... Уж темно стало, с парохода свет на нас иликтрический пустили, сверху, из фонаря, – так по глазам и стегануло. И еще дальше корабль стоял, и с него пустили, по городу стегануло, на горы, как усы, туда-сюда. А это, говорили, сторожат, оглядывают вокруг, нет ли большевиков. И вдруг церкву нашу и осветили, крестики заблистали, ну, чисто днем. Я и заплакала, заплакала-зарыдала... – прощай, моя матушка-Россия! прощайте, святые наши угоднички!.. И нет ее, в темноте сокрылась, – на горы свет ушел.

Уж садиться, бес откуда ни есть взялся! Да как же вы уезжаете, на погибель, родину покидаете... мину, говорит, большевики пустили, взорвать хотят. Катичка ему при всех и крикнула: «ступайте дачу покойного Коврова грабить с вашими друзьями!» – так и отлетел, чисто скрозь землю провалился. Османа-то не было, а то бы в море его закинул, кривую душу.

К ночи еще корабль подошел, военный. А нас на такой погрузили, большой тоже. В яму нас опустили, каюты уж все позаняли. Вот-вот, в трюм. Темнота, духота, чуть лампочка светит, а в темноте крик, плач, кого уж тошнить стало, кто до ветру просится, а выйти никак нельзя,

беспорядку чтобы не было. Наверху по бумагам пропускают, считают, сколько, ходу-то назад и нет. Как поднялись мы на пароход, глянула я на горы... – темные стоят, жуть, и огонечки кой-где по дачкам, сиротки будто. И свет все ползает, сторожит. Пождала я, вот, может, церкву опять увижу? Нет, так и не показалась. А под фонарями, на берегу, на-ро-ду... черным-черно. И не разобрать, что кричат, – гул и гул. Покрестилась я на небо, заплакала.

Забыла я вам, барыня, сказать... Это еще не сажались мы, пожилой человек прощения у всех просил. Он учитель был, не то попечитель... с проседью, худой, длинная борода, на мученика похож, в очках только. И будто он за странника: котомочка за спиной, клюшка белая, панталоны в заплатках, сам босой. На ящике стоял, все кричал:

«Православные, прости-те меня! Дети мои, простите меня!.. – так все. – Погубил я вас, окаянный... попечитель был вам, всему народу учитель, и все мы были попечи-тели-учи-тели!.. А чему мы вас обучили? И все мы погубили... и все потли-или-и... – будто стонул, – на пустую дорогу вас пустили-и...»

А под ним офицера стояли, измучились, ранены, молоденькие все мальчишки, небритые-немытые, и с ружьями. А он плачет на них – «дети мои, простите меня, попечитель я был...»

Уж он свихнулся, с горя. Его офицер и прогнал с ящика, а то в море еще свалится. А раньше он образованный был, газеты все печатал, а тут другой месяц блаженный стал, – сказывали знающие. Как его один офицер, высокой, худой, поперек лица рубец темный... как его сдернет с ящика, – «поздно теперь болтать, как все сгорело... ступай, с большевиками болтай!» Никто и не пожалел. Да и правда, не время уж, какой же разговор тут, как всем могила готовится. А мне его жалко стало, все-таки он покался.

Говорили знающие – тоже, как покойник-барин наш, слободного правления хотел, а вот и оборвался, в странники пошел.

Ночью уж мы поплыли. На самом мы дне сидели, где товар вот возят, в могиле будто, и не видали, как Россия наша пропадала. Как загреми-ит, застучи-ит... – все мы креститься стали: отходим, говорят. «Царю Небесный» запели, «спаси души наши». И пошло тарахтеть, поплыли. Катичка, слышу, плачет. А рядом с нами старичок-повар ехал... у него сынок офицер тоже был... наказал уезжать с собой, а то убьют: у великих князей был поваром, старичок-то... – вот он и говорит, через силу уж:

«Господи... то все в России нашей жили, на солнышке... а вот, в черную яму опустили... довертели!..»

И в мешок головой уткнулся. И я ничего не вижу, застлало все... что уж и вспоминать.

XXXVIII

Да как же не горевать-то, барыня... собака – и та к дому привыкает, на чужом месте скучит, а человеку?.. Перво пришибло словно, а как очухалась, сразу и поняла, – не видать мне родной землицы! А вот... Старичок-повар в мешочках стал разбираться. В дыре-то у нас темно, он и шарит-елозит, охает. – «Что вы, – говорю, – батюшка, ай чего потеряли?» А он – «слава те, Господи, как же я напугался!» – и показывает кожаный кошель. Подумала – золото-серебро, пожалуй. А это землица, с собой везет! – «Помру на чужой стороне, меня и посыплют родной землицей, а своей будто и схоронюсь». Как сказал про землицу, так меня в сердце вот... – не видать мне родимой нашей! Гляжу на Катичку – платочек она кусает. Да нет, барыня... сердцем чую, – не достучит. Строгие капли пью. Доктор в Америке мне: «тихо, – говорит, – стучится».

Ну, ехали мы... У каждого горе, а надо всеми одна беда. Из вышних какие, – им и каютки... а кто пониже – тому полише. Да там не один был, этот вот... яма-то наша? да, трюм... а под нами еще была дыра, самая преисподня. И детишки кричат оттуда, и духотицей... – с души воротит. Ше-эсть тыщ народу корабль забрал, сказать невысказано. Проповедь какую батюшка говорил... – «глядите, говорит, куда попали... в самую преисподню! и нету у нас звания – дукумента, а есть один дукумент – грехописание!..» И казаки были, и калмыки... два ихних старика-калмыка, рядом с нами валялись, икали все... и офицера больные, и хохлы были, хлебороды... всякого было звания. И всюнощную под нами пели, вот я плакала! «Вышних Богу» запели, барышне голоски слышно, из теми-то оттуда, из дыры, будто ангелы жалуются: «Го-споди, Боже наш... Го-споди, Царь Небесный...» – до слез.

И всех позаписали. Стали говорить: про занятие дознаются – это уж чего-нибудь с нами сделают, – к арапам, может, отправят, золото копать. Они все так, с людоедами своими, кнутями даже бьют! – знающие говорили: и нас за людоедов посчитают. Сироты, некому за нас вступить: небо над нами, вода под нами, – только и всего. Правда, не все заграничные такие. Сербушки вон пенсию нашим калекам положили, ихний царь так и указал: «всех под крыло соберу-угрею». Помощник ходил-записывал, Катичке и посмейся: завезем вас на пустые земли к людоедам. Она и сказала: не до шуток нам. Очень на нее антересовался, бутенброты присылал, и шиколату, в каюту все предлагал, да она забоялась: меня он не пригласил.

XXXIX

Стращали-стращали, а что и взаправду вышло. В работу нас не взяли, а пустили на острова, под строгой глаз. Да сколько у берега качались-маялись. А войска наша, вот натерпелись, Васенька нам рассказывал! Сколько-то тыщ казаков к большевикам отправили, совесть потеряли... на муку смертную, хлебушка жалко стало. А ведь придет время, барыня, золотыми словами про все пропишут, от кого мы чего видали.

У берега и качались. У нас в яме троих закачало, померли. Чего не забуду, барыня... – офицерик тот, на костылях, неподалечку от нас на полу сидел, коленки так обхватил, лежать уж не мог, сердце не позволяло. И говорит он другому офицеру-калеке: «вот пистолет, у немца отбил... сил нет, застрели меня». Отняли у него пистолет и батюшку позвали, разговаривать. А у него рана была, под самое под сердце, с немецкой пули. Ну, подумайте: пуля у него такая, и такое случилось с нами, – у здорового сердце заболит. Дала я ему лепешечку, приласкала. А Катичка отлучилась, как на грех. На лепешечку смотрит, слезы на нее капаят, да так вот – а-ах! – испугался будто, за сердце так, и повалился на спину, не дышал. Закрыли ему глаза, батюшка молитву прочитал, накрыли мы его шинелькой... доктор сразу пришел, руку пощупал, – матросы его и унесли. И все стали ужашаться. На что уж калмыки, вовсе степные-неправославные, а и те глоткой так все – ьи, ьи, – икали, будто заплакали. Которые говорили: и без флага, чисто собаку потащили, а он с немцами воевал. Катичка прибегает, сама не своя, – видала сверху, как его на берег свозили. Вот тут мне страшно стало: не дай, Господи, в неподобный час помереть!.. Помощник пришел, велел щетками протереть. Катичка ему и отпела: чисто с собаками обходитесь, а еще союзники! Ни слова не сказал, только как свекла сделался, – у ж ему стыдно стало. Калмык-старик платице у ней поцеловал, за правду что заступилась. Тоже человек, калмык-то.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.